

Х Е Л Е Н А Х А Т

НЕ ВСЯКИЙ УСЛЫШИТ ЗОВ,
НО ТОТ, КТО УСЛЫШИТ –
ИЗМЕНИТСЯ НАВСЕГДА.

ОДНА ВСТРЕЧА
МОЖЕТ РАЗРУШИТЬ
ВСЮ ТВОЮ ЖИЗНЬ –
И СОЗДАТЬ НОВУЮ.

ТАЙНЫ ПРОШЛОГО –
ЭТО КЛЮЧИ
К ТВОЕМУ БУДУЩЕМУ.

ДОМ НАД

МАСЛИНОВОЙ РОЩЕЙ

РОМАН-ПОГРУЖЕНИЕ
О ПРОБУЖДЕНИИ ДУШИ

ГЛУБОКАЯ
ИСТОРИЯ
О ЛЮБВИ,
СУДЬБЕ И
ВНУТРЕННЕМ
ПРОБУЖДЕНИИ

18+

Хелена Хат

Дом над маслиновой рощей

«Автор»

2026

Хат Х.

Дом над маслиновой рощей / Х. Хат — «Автор», 2026

«Дом над маслиновой рощей» — роман-погружение. История о профессоре философии, который переехал на юг Италии, чтобы подумать о своей жизни, и встретил загадочную женщину, изменившую все. Это атмосферный, психологический роман о женской энергии, о тайнах прошлого и о выборе, который никогда не поздно сделать. Здесь есть место и древним ритуалам, и закрытым клубам, и тихим рассветам у маяка. Италия здесь — не просто декорация, а живой мир: маслиновые рощи, старые улочки Монополи, запах моря и кофе. «Дом над маслиновой рощей» — для тех, кто ценит неспешное, чувственное чтение и готов отправиться в путешествие к себе.

© Хат Х., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. «Il Glicine»	5
Глава 2. Учивость и тень	9
Глава 3. Платок	11
Глава 4. Масличная роща	13
Глава 5. Ее тропа	15
Глава 6. Дом Джанни Палумбо	18
Глава 7. Ключ от мечты	22
Глава 8. Гроза	24
Глава 9. Кастель-Оливо	28
Глава 10. Пустой дом	34
Глава 11. Следующий ход	36
Глава 12. Самая короткая ночь	40
Глава 13. Ритуал	45
Глава 14. Партенопа	48
Глава 15. Пелена	51
Глава	55
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Хелена Хат

Дом над маслиновой рощей

Глава 1. «Il Glicine»

Он достиг того возраста, когда принято подводить итоги — и впервые в жизни не знал, что делать дальше.

Двадцать три года он преподавал философию в Туринском университете — читал Канта и Хайдеггера студентам, которые год от года становились всё моложе и всё менее способны отличить трансцендентальное от трансцендентного. Когда-то это зажигало его; теперь — выжигало изнутри. Он смотрел на аудиторию и ловил себя на мысли, что говорит в пустоту. Или, хуже того, сам стал пустотой, из которой уходят слова, не оставляя следа. В сорок семь он взял академический отпуск. Официальная причина была солидной и всем понятной — написание диссертации. Декан, старый друг, подписал бумаги без вопросов. Настоящая причина была проще и сложнее одновременно: ему нужно было подумать. О своей жизни. О том, куда она идёт и, главное, зачем.

Жена предложила переехать на юг, поближе к её семье. Она была родом из Бари, и после двух десятилетий на севере, в промозглой серости Турина, ей хотелось обратно — к морю, к матери, к сёстрам, к неторопливому ритму апулийской жизни. Он согласился почти без колебаний. Какая разница, где думать о своей жизни? Может быть, здесь, среди белого камня и адриатического света, думается лучше. Или, может быть, ему уже всё равно.

Квартиру нашли в Монополи, в Ларго Сан-Сальваторе — тихом уголке старого города, в стороне от туристических маршрутов. Палаццо восемнадцатого века, перестроенное на несколько просторных резиденций. Высокие потолки с деревянными балками, окна со ставнями, выходящие во внутренний двор, где в кадке росло лимонное дерево — тощее, но упрямо плодоносящее. Места было много, пожалуй, даже слишком много для двоих. Иногда, проходя из спальни в кухню через анфиладу комнат, он ловил себя на странном чувстве: будто он здесь — гость. Будто этот белый камень, эта тишина, этот южный свет принадлежат кому-то другому.

Кафе называлось «Il Glicine» — «Глициния». Старая лоза оплетала деревянные балки над террасой, и в июне, когда они пришли туда впервые, кисти растения ещё цвели — бледно-лиловые, тяжёлые, чуть сонные от жары. Терраса ютилась на верхней части улицы виа Витторио Венето и выходила на склон: внизу белые кубики домов сползали к порту, а дальше, за черепичными крышами и антеннами, угадывалась открытая вода — не само море, а простор неба над Адриатикой.

Их столик сначала стоял неудачно — солнце било жене прямо в глаза, и она, морщась, попросила его пересесть. Он подозвал официанта, они передвинули приборы и бокалы с водой, и, усаживаясь на новое место, он рассеянно скользнул взглядом по террасе — и что-то необъяснимое остановило его взгляд, ещё не успевший понять или осознать, что именно его держит. Как будто в привычный шум мира вплелась нота, которой там раньше не было. Он замер, всё ещё глядя куда-то мимо собственного внимания, а потом медленно, словно против воли, перевёл фокус.

Она сидела одна за столиком на двоих, у самого края, где кончался навес и начиналось открытое небо. На ней было длинное платье из тонкой, почти невесомой ткани — светлое, чуть дымчатое, с глухим воротом-стойкой, обнимающим шею, и длинными закрытыми рукавами, собранными у запястий в мягкие складки. Ткань была такой лёгкой, такой податливой,

что силуэт угадывался сквозь неё — а если точнее, дорисовывался воображением. Ветер то прижимал ткань к телу, подчеркивая мягкую, гармоничную линию, то отпускал, и тогда платье снова становилось просто дымкой, просто тенью.

Он не мог определить сколько ей лет. В том, как она сидела, чуть откинувшись на спинку стула, не глядя в телефон, была какая-то глубокая, почти нездешняя умиротворенность, какая приходит только с опытом долгой жизни. Взгляд её, устремленный туда, где склон уходил вниз, к морю, был спокоен и мудр — так смотрят люди, примирившиеся с чем-то очень важным. Но при этом в ней была лёгкость. Не юная — другая: лёгкость движений, которая не имеет возраста. Она поправила край рукава, провела пальцами по кромке кофейной чашки, и каждый жест её был плавным, естественным, словно тело её двигалось в каком-то своём, внутреннем ритме, не совпадающем с суетой мира.

Он не мог понять, хорошо ей или грустно. Ждёт ли кого-то с нетерпением или, наоборот, наслаждается одиночеством. В её позе было что-то одновременно и расслабленное, и едва уловимо печальное — как у человека, который на минуту выпал из времени и примеряет на себя тишину. Ему вдруг захотелось узнать, о чём она думает. Что дает ей такой покой.

Преподававший философию, привыкший раскладывать реальность на концепции, всматриваться в неё через сетку категорий — субъект и объект, причина и следствие, сущность и явление, — он смотрел на неё и пытался понять. Классифицировать. Найти аналогию. Но чем дольше он всматривался, тем яснее чувствовал: привычные инструменты здесь не работают. Она ускользала от анализа, как вода ускользает от пальцев. Она не вписывалась в категории. Она просто *была* — и в этом была её непостижимая, тихая сила.

— Ты меня слушаешь? — спросила жена.

— Да, — ответил он машинально, даже не успев испугаться. — Жарко просто.

Жена продолжила что-то говорить — о том, что нужно не забыть заехать к её матери в субботу, — а он позволил своему взгляду ещё раз соскользнуть туда, где сидела она. К самому краю террасы. К её столику. К её тишине.

И в этот самый миг порыв ветра, мягкий, но настойчивый, подхватил прядь её волос — природно русых, но выгоревших на солнце Италии до светлого, почти льняного оттенка, чуть выющихся и влажных от морского воздуха — и перенёс прямо к уголку губ. Прядь легла на губы, как случайный поцелуй, и замерла там.

Она не убрала её..

Он смотрел. Ждал. Сейчас — сейчас она поднимет руку, чтобы заправить волосы за ухо, смахнёт эту вольную прядь. Но она не двигалась. Она позволяла ветру делать с собой всё, что ему вздумается, и в этом было что-то до странности доверительное, почти интимное — как если бы она была наедине с миром, а мир был её давним любовником, которому она разрешала любые прикосновения.

У него перехватило дыхание.

Глупое, невозможное, иррациональное чувство, будто он уже видел этот жест, этот локон у губ, этот рассеянный взгляд. Будто он знал эту женщину — нет, не знал, но помнил. Так помнят сон, который рассыпается при пробуждении, оставляя лишь смутную, щемящую тоску

по чему-то прекрасному и недоступному. Он уже знал это чувство: иногда образ, пришедший изнутри, оказывался реальнее того, что стояло перед глазами. Но сейчас это был не образ. Это была живая женщина.

Он перевёл взгляд на жену. Она размешивала сахар в чашке, и ложечка позвякивала о фарфор. Этот звук был знакомым, привычным, правильным. Всё на своих местах.

Краем глаза он заметил, что к столику незнакомки кто-то подошёл. Мужчина — высокий, в светлой рубашке, с приятным, обыкновенным лицом. Она улыбнулась ему — мягко, без вспышки, без кокетства, — и её лицо на секунду стало другим. Исчезла та самая загадочная отстранённость. Она стала просто женщиной, которой приятно видеть знакомого человека. Мужчина сел напротив, и она что-то ему сказала — он не расслышал, что именно, — и потянулась к чашке с кофе.

Его кольнула досада. Не ревность — нет, скорее сожаление. Словно кто-то закрыл книгу на самой интересной странице.

Она поднялась. Высокий мужчина помог ей отодвинуть стул — вежливо, но без лишней теплоты. Он не смотрел прямо — не мог себе позволить, это было бы слишком откровенно, слишком заметно, — но краем глаза провожал её фигуру, до самого выхода. Лёгкая ткань платья струилась за ней, и на мгновение ему показалось — это не женщина, уходящая с террасы, а тень, скользящая по воде.

Они ушли. Герой расплатился, помог жене подняться, взял со стола её солнечные очки — и на мгновение задержался взглядом на пустом стуле, где только что сидела она. Ветер всё ещё играл с чем-то невидимым, словно она оставила там частицу своей тишины.

— Идём? — жена тронула его за локоть.

— Идём.

Он ни разу не обернулся. Всю дорогу домой он молчал чуть больше обычного, но этого никто не заметил. Даже он сам.

День, начавшийся так странно, потом всё же накрыл его волной привычной суеты: долгая прогулка по старому городу, которую жена превратила в поход по магазинам — она заходила то в одну лавку, то в другую, а он ждал снаружи, шурясь от белого солнца и думая о чём-то своём. Потом — обязательный заезд к тёще. Та усадила их на террасе, поила чаем с анисовым печеньем и расспрашивала — о здоровье, о том, как они устроились, о планах на будущее. Он отвечал ровно, кивал, улыбался, но мысли его текли где-то в стороне, как вода, обтекающая камень. Вечером — лёгкий ужин с женой, разговоры о чём-то неважном. Всё это — прогулка, лавки, родственники, вопросы — к ночи слилось в один долгий, монотонный гул, фоновый шум жизни, от которого он, казалось, сбежал на юг, но который настиг его и здесь.

Он почти забыл о той женщине на террасе — почти. Но когда лёг в постель и закрыл глаза, выключив прикроватную лампу, когда дыхание жены рядом стало ровным и глубоким, она вдруг вернулась.

Не воспоминанием. Живой картиной.

Он её увидел не на террасе, в спальне, в той, которую сам ей придумал. Тёплый, приглушённый свет — свеча или ночник. Окно приоткрыто, и тот же влажный ветер шевелит лёгкую занавеску. Она стоит спиной к нему — к воображаемой точке, откуда он смотрит, — и на ней шёлковая ночная рубашка. Не вызывающая, не кружевная, а простая, струящаяся, цвета слоновой кости или бледного персика. Ткань скользит по её телу, с каждым шагом к постели.

В его фантазии она одна. Того мужчины нет. Он даже не знает, кем он ей приходится — и сейчас это не важно. Важно только то, что она одна в этой тишине, и он — единственный свидетель.

Она медленно, почти ритуально готовится ко сну. Поправляет волосы — те самые, влажные, чуть выющиеся, — и они струятся сквозь её пальцы. Проводит ладонью по плечу и садится на край кровати.

Ее лица не видно. Но он видит эту прядь, которая снова — вот она — касается уголка губ. Дыхание становится глубже, медленнее, словно он сам погружается в её тишину. Словно он не лежит в своей постели, а парит где-то рядом, невидимый, невесомый, и впитывает каждое её движение.

Она поднимает руку, чтобы выключить воображаемый свет, и на секунду замирает. Он замирает тоже.

Темнота.

Он открывает глаза. В спальне тихо. Жена спит. За окном — ни ветра, ни моря, только далёкий шум города. Но под закрытыми веками всё ещё стоит картинка — шёлк, тень, прядь у губ. Он осторожно переворачивается на бок, чтобы не разбудить жену, и долго лежит с открытыми глазами, глядя в темноту.

Он не знает, зачем это делает, не знает, что будет дальше. Знает только, что завтра — он снова закроет глаза и постарается увидеть её. Её движения. Её тишину. Её одну.

И от этой мысли ему становится одновременно и стыдно, и сладко.

Глава 2. Учтивость и тень

Прошло четыре дня.

Он не считал — но каждый вечер, сам себе не признаваясь, прокручивал в голове пятницу. Пятница была их первым походом в «Il Glicine». Может быть, у неё есть привычка. Может быть, она приходит туда каждую пятницу в одно и то же время. А может — и эта мысль была совсем уж нелепой, — она тоже заметила его и придет в надежде на встречу.

В четверг вечером, за ужином, он сказал жене — нарочито небрежно:

— Слушай, в пятницу мы будем у твоей матери. А что если нам с утра снова зайти в то кафе? Всё равно будем рядом, туда-сюда мотаться.

Жена пожала плечами:

— Давай. Там правда было уютно.

Его пронзило короткое, стыдное торжество. Как будто он что-то выиграл. Как будто она дала ему разрешение — сама того не зная.

Они пришли чуть раньше, чем в прошлый раз. Терраса была полупустая — утренняя жара ещё не разогнала тени, и город только начинал просыпаться, лениво и нехотя, как всегда на юге. Заняли тот же столик. Он сел так, чтобы видеть край террасы, и сделал заказ, почти не глядя в меню.

Жена болтала — о матери, о том, что сестра снова поссорилась с мужем, о том, что надо бы обновить плитку в ванной. Он кивал, поддерживал разговор, даже шутил — но взгляд его был постоянно занят тем, что было на террасе.

И она пришла.

Сначала он увидел не её, а того мужчину. Высокий, та же светлая рубашка, может быть, даже та же самая. Он поднялся по ступенькам террасы уверенным шагом — и только потом, за его спиной, показалась она. В другом платье, но таком же — лёгком, дышащем, свободном. Плечи и руки были прикрыты, как и в прошлый раз, но сегодня платье было с более свободным вырезом — мягким, округлым, — и он впервые увидел её шею — открытую, длинную, плавную, трогательную в своей незащищённости. Он смотрел на эту тонкую линию, переходящую в ключицу, и чувствовал странное, щемящее волнение — как будто ему доверили тайну, о которой она сама не знала.

Они сели за тот же столик — их столик. Он хотел поймать её взгляд — просто чтобы она его заметила, и возможно, чтобы между ними пробежало что-то, хотя бы искра, — но она не смотрела по сторонам.

Она слушала. Мужчина говорил — негромко, что-то явно бытовое или деловое; она кивала, коротко отвечала — и замолкала. Ни одной фразы «навстречу». Ни одного вопроса,

начатого ею самой. Отвечала ровно, спокойно, без холода, но и без тепла — как отвечают коллеги, с которым давно работаешь и которому не нужно ничего доказывать. Мужчина тоже не выказывал ничего лишнего. Ни прикосновений. Ни долгих взглядов.

Кто он? Муж? Брат? Друг? Коллега? По их поведению невозможно было сказать. Они не были любовниками — это он чувствовал почти наверняка. Но было ли когда-то?

И тут случилось то, ради чего он, сам себе не признаваясь, и пришёл.

Мужчина достал телефон — кажется, ответил на сообщение, — и в эту секунду она выпала из разговора. Её взгляд медленно уплыл в сторону, за край террасы, туда, где садилось солнце и белые крыши уступали место открытому небу. Она вернулась в свою тишину — ту самую, которую он уже считал своей.

У него перехватило дыхание. Вот она. Та. Настоящая. В ней нет нужды в чужом внимании. Есть только она и что-то, что она видит внутри или снаружи — не важно. Он не мог оторваться.

Мужчина убрал телефон. Она перевела взгляд на него — без раздражения, без упрёка — и что-то коротко ответила на его следующий вопрос. И снова — учтивость. Ровность. Ни искры.

Герой поймал себя на чувстве, близком к ликованию: между ними ничего нет. Или — если есть, то это не имеет значения. Важно другое: она остаётся собой даже рядом с ним. Она не растворяется.

Перед уходом мужчина подозвал официанта и расплатился. Она поднялась, поправила ремешок сумки — и вдруг её взгляд скользнул по террасе и задел его.

Она не отвела глаза сразу.

На долю секунды дольше, чем нужно незнакомому человеку. В её взгляде не было ни вопроса, ни интереса, ни кокетства — но он задержался. Как будто она узнала его. Не вспомнила — именно узнала, как узнают лицо из сна, ещё не понимая, что это значит.

Сердце ударило в рёбра — один раз, сильно. Он забыл, что нужно выдохнуть.

Она отвернулась и пошла за мужчиной.

— Может, пойдём? — спросила жена. — Что-то ты совсем заскучал.

— Да, — сказал он, вставая. — Да, пойдём. Просто жара.

Но никакой жары он уже не чувствовал. Внутри всё дрожало — мелко, возбуждённо, как после первого глотка крепкого вина.

Глава 3. Платок

Следующие две недели прошли как в лихорадке — ровной, бессимптомной снаружи и пожирающей изнутри.

Он заехал в «Il Glicine» во вторник, один, сказав жене, что хочет прогуляться по старому городу, подумать в тишине. Она кивнула, не отрываясь от книги, — она давно привыкла к его потребности в одиночестве. Он взял кофе, сел так, чтобы видеть «её» столик, и просидел час. Она не пришла. Он повторил в среду — с тем же предлогом, чувствуя, как неловкая ложь густеет на языке, но уже не в силах остановиться. Снова никого.

На второй неделе он сменил время — вместо утра приехал днём, когда терраса пустовала. Заказал воду с лимоном и смотрел на пустой стул, воображая её. Это было почти так же хорошо, как видеть её вживую. Почти.

В пятницу он снова пришел — но её не было. Ни её, ни того мужчины. Он пил вино и чувствовал, как внутри копится глухая, иррациональная паника. А вдруг она уехала? А вдруг он больше никогда её не увидит? Абсурд. Он даже не знает её имени. Но мысль эта жгла.

Тогда он придумал платок.

В субботу утром он сказал жене, что ему нужно в центр — забрать вещи из химчистки. Припарковался у Ларго Сан-Сальваторе, но вместо химчистки пошёл в «Il Glicine». Утренняя смена. Официант — молодой парень с ленивой южной грацией — протирает столы на террасе.

— Buongiorno, — начал он. — Извините, я, кажется, в прошлую пятницу, утром... Моя жена, мы сидели вон там... — он махнул в сторону столика у балюстрады. — Она, по-моему, оставила платок. Шёлковый, светлый. Никто не находил?

Парень нахмурился, покачал головой:

— Нет, синьор. Я на утренней смене не был. Но могу спросить у коллеги.

— Был бы очень признателен. Мы как раз сидели рядом с той дамой — ну, вы, наверное, её знаете. Она часто здесь бывает, с мужчиной. Или, может, не с мужчиной... не знаю.

Он старался говорить легко, почти рассеянно, но сердце колотилось где-то в горле. Парень пожал плечами:

— А, синьора, которая рисует?

Внутри у него что-то оборвалось и взлетело одновременно.

— Рисует?

— Ну да. Художница. Я её не очень знаю, она неразговорчивая. Приходит, когда тихо. Иногда одна, иногда с этим... — он неопределённо повёл рукой. — возможно, это её брат. Или кузен. Они похожи немного, нет? Но я не спрашивал.

Брат. Или кузен. Он почувствовал, как внутри отпускает какой-то туго закрученный винт.

— Кстати, она не местная? Просто любопытно. Она действительно отличается от всех, кого здесь встречаешь.

Парень усмехнулся:

— Не то слово. Она и живёт так же — уединённо, в стороне от всех. Я слышал, у неё дом где-то за городом, в сторону побережья. Там, где старая дорога уходит вниз к бухте. Знаете, где масличная роща за поворотом? Там ещё тропинка к пляжу. Говорят, её дом где-то на склоне. Но это не точно.

Дом на склоне. Масличная роща. Тропинка к уединённому пляжу.

Он поблагодарил, оставил чаевые и вышел на улицу. Утро только разгоралось, белый камень мостовой слепил глаза. Он шёл, не чувствуя жары, и в голове у него складывалась карта — пока ещё смутная, но уже реальная. У неё есть дом. У неё есть тропинка к морю. И она художница. Женщина, которая рисует.

То, что он делает, уже не было случайностью. Это была охота. Но он не чувствовал себя хищником. Скорее — исследователем. Паломником, который получил первую подсказку к тому, где обитает его божество.

Он не мог рассказать никому ни о платке, ни о художнице, ни о доме на склоне. Спрятал это всё глубоко внутрь, как прячут драгоценность, о которой никто не должен знать, — и от этого она сияла только ярче.

Глава 4. Масличная роща

Информация о доме, о масличной роще, о тропинке к уединённому пляжу легла в него, как семя в подготовленную почву. Днём он ещё как-то держался — разговоры с женой, бытовые мелочи, — но к вечеру, когда Монополи затихал и в окна их просторной квартиры в Ларго Сан-Сальваторе начинало сочиться лимонное закатное золото, семя это начинало прорасти. Внутри разворачивалось новое знание, требуя выхода.

Он стал уходить в спальню раньше жены. Говорил, что устал, хочет почитать, — и действительно ложился в постель с книгой, но строчки плыли перед глазами, а сам он уже был не здесь. Жена ещё возилась на кухне или в душе, а он уже закрывал глаза и уходил в мир, созданный им самим.

Теперь это было легче. Почти просто. Как включать любимый фильм, который знаешь наизусть, но каждый раз находишь новый кадр.

Он представлял пляж.

Не тот общественный, каменистый пляж в порту, где днём толкуются туристы и пахнет кремом от загара. А тот, уединённый, к которому ведёт тропинка через масличную рощу. Узкая полоса бледного песка вперемешку с галькой, обрывающаяся прямо в прозрачную, густосинюю воду. Скалы по бокам, заросшие сухим кустарником и какими-то цепкими цветами, которые пахнут мёдом и солью. Ни души. Только море, шуршащее набегающей волной, и ветер — тот самый влажный, тёплый апулийский ветер, который он впервые почувствовал на террасе «Il Glicine».

И она.

Она стояла спиной к нему, у самой кромки воды, босиком. Платье — другое, не то, в котором он видел её в кафе. Длинное, из почти невесомой ткани, которую ветер облеплял вокруг её бёдер и отбрасывал назад, обрисовывая линию тела — мягкую, гармоничную и бесконечно женственную.

Она смотрела в море. Он не видел её лица, но знал этот взгляд — тот самый, рассеянный, обращённый одновременно внутрь и в бесконечность. Ветер играл с её волосами — снова, как в первый раз, — и она позволяла ему. Не сопротивлялась. Была частью этого воздуха, этой воды, этой тишины.

А он стоял за её спиной.

Раньше, он держался на расстоянии — тот же столик, та же терраса, ночная спальня, которую он подглядывал из тени. Теперь, впервые, он позволил себе приблизиться. Шаг. Ещё шаг. Так близко, что если бы она повернулась, он бы увидел своё отражение в её зрачках. Но она не поворачивалась. Она не знала, что он здесь. И именно это — её незнание — делало его присутствие таким острым, таким запретно-сладостным.

Он пытался услышать её дыхание.

В реальности на пляже, было слишком ветрено, чтобы услышать, как дышит человек в нескольких шагах от тебя. Но в фантазии — в фантазии он мог всё. Медленный, ровный, спокойный ритм. Она просто дышала. И он подстроил своё дыхание под её — вошёл в этот ритм, как входят в тёплую воду, медленно, с наслаждением.

Потом он попытался почувствовать её аромат.

Это было сложнее. Фантазия, такая послушная в образах, становилась упрямой, когда дело касалось запахов. И вдруг, как будто какая-то дверь внутри распахнулась, воображение подарило ему целую гамму: соль на коже, нагретая солнцем; что-то травяное, сухое — масличная роща, через которую она спускалась к пляжу; и под этим — тонкий, почти неуловимый запах её тела. Не духи — что-то природное, тёплое, живое, что шло изнутри.

У него перехватило горло. В реальной спальне, в тишине их квартиры, он приоткрыл рот, как будто хотел вдохнуть глубже, втянуть этот придуманный запах в лёгкие и оставить там.

Он не мог к ней прикоснуться.

Даже в фантазии не мог. Что-то держало — не страх, не стыд, а странное, почти священное чувство запрета. Прикоснуться значило бы разрушить. Разрушить её покой, её тишину, её отдельность от него. Сделать её обычной женщиной, до которой можно дотянуться рукой, — и тогда магия исчезнет. Он понял это отчётливо, лёжа с закрытыми глазами. Сейчас ему достаточно было вот так: стоять за её спиной, вдыхать её, слышать её дыхание и знать, что она существует в этом мире — на этом самом пляже, в этот самый момент, — даже если сам он никогда не решится туда прийти.

Эта мысль — «никогда не решится» — принесла с собой странное облегчение. Как будто невозможность была частью удовольствия.

Он открыл глаза. Жена ещё не пришла. За дверью слышался шум воды в душе. Глубоко вздохнул — без соли и трав, просто воздух спальни, — и прижал пальцы к векам. Картинка всё ещё стояла перед ним: море, ветер, платье, прядь у губ.

«Я хочу увидеть это по-настоящему», — подумал он внезапно.

Не подойти. Не заговорить. Просто увидеть. Просто подтвердить, что это существует не только в его голове. Что она действительно ходит туда, на этот пляж, одна, и смотрит на море.

Мысль была опасной, но он уже не мог ей противиться.

Глава 5. Ее тропа

Утро субботы началось снова с лжи.

Он сказал жене, что хочет съездить в сторону Бари — посмотреть кое-какие редкие издания в книжной лавке, заодно, может, заглянуть в библиотеку. Слова выходили сами — ровные, обыденные, ничем не выдающие той бурлящей смеси из стыда и предвкушения, что колотилась у него в горле с самой ночи. Жена, ещё сонная, кивнула, что-то пробормотала о том, чтобы он вернулся к обеду, и перевернулась на другой бок. Он поцеловал её в висок — привычный, нежный, почти машинальный жест — и вышел.

Совість настигла его уже в машине, на выезде из Ларго Сан-Сальваторе, когда белые стены старого города ещё отражались в зеркале заднего вида. Совість — или её суррогат, воспитанный годами «правильной» жизни, — нащёптывала: «Ты едешь выслеживать женщину, которую видел два раза в жизни и которая даже не знает твоего имени. Что ты творишь? Остановись. Ещё можно повернуть. Ещё можно поехать в настоящую библиотеку, книжную лавку и вернуться в настоящий субботний день, где всё предсказуемо, честно и серо».

Он не повернул.

Вместо этого свернул на старую дорогу, ведущую из Монополи к побережью, туда, где каменистые поля сменяются масличными рощами, а воздух становится всё гуще от соли и нагретой за день земли. Утреннее солнце только начинало набирать силу, но свет уже был таким, какой бывает только здесь, на юге: бело-золотым, плотным, словно в него подмешали мёд. Окна машины были открыты, и ветер — тот самый, с которым он уже мысленно делил её, — врвался в салон, трепал волосы, нёс запахи: сухой травы, дрока, пыли, разогретого асфальта.

Дорога пошла вниз, петляя между старыми каменными оградами, за которыми серебрилась листва маслин. Стволы — узловатые, древние, причудливо изогнутые, как будто каждое дерево застыло в танце, — отбрасывали короткие резкие тени. Он проехал поворот, о котором говорил официант, и сбросил скорость. «Там ещё тропинка к пляжу». И точно: справа, у развилки, от асфальта отходила узкая грунтовка, почти не видная за кустами олеандра. Он припарковался на обочине, заглушил мотор и вышел.

Тишина пронзает слух. Не городская тишина — плотная, прерываемая гулом машин, — а совсем другая: наполненная звуками, которые не нарушают покой, а входят в него. Стрекот цикад — то затихающий, то взрывающийся с новой силой. Шелест ветра в оливах. Где-то далеко, снизу, ритмичный шёпот прибоя. Он постоял минуту, привыкая, — и пошёл вниз по тропе.

Тропа была старой, выбитой в каменистой почве, но сейчас она выглядела почти заброшенной. Сухая трава цеплялась за штанины. Слева и справа из камней торчали пучки каких-то цепких цветов — мелких, бело-розовых, пахнущих мёдом и перцем. Воздух слоился: сверху — сухой, горячий, пропитанный солнцем; снизу, от моря, тянуло прохладной влагой, и эти два потока смешивались на коже, оставляя ощущение лёгкой, невидимой дымки.

Он спускался, и с каждым шагом «она» — та, воображаемая, фантомная — становилась всё более реальной. Он почти видел, как она идёт здесь: в лёгких сандалиях, или вовсе без обуви, той же тропой, задевая плечом те же ветки, вдыхая тот же перечный запах. Он замедлил шаг, как будто хотел синхронизироваться с её ритмом.

Тропа сделала последний поворот, и пляж открылся.

Внутри у него всё стихло.

Это было то самое место. Он узнал его сразу, хотя никогда здесь не был. Узкая полоса песка, бледного, почти белого, вперемешку с гладкой круглой галькой — серой, зеленоватой, розоватой, как будто море веками обтачивало здесь драгоценные камни. Скалы по бокам — серо-охряные, выщербленные, поросшие сухим кустарником. А впереди — море. Не то море, что на открытках, — ярко-синее, глянцевое, — а живое, дышащее, цвета индиго, тронутого утренней дымкой, с белыми нитками пены у самого берега.

Никого.

Пляж был пуст. Абсолютно, совершенно пуст — только чайка сидела на большом плоском камне у воды и смотрела вдаль, почти по-человечески задумчиво. Он выдохнул — и только сейчас понял, что всё это время шёл, не дыша.

Спустившись на песок, он сделал несколько шагов к воде и остановился ровно на том месте, где в его фантазиях стояла она. Повернулся лицом к морю. Ветер здесь был сильнее, плотнее, он обнимал сразу, без предупреждения, — и он вдруг понял, что значит «позволять ему это делать и не сопротивляться». Просто стоять. Просто принимать.

Теперь он знал. Это место существует. Она здесь ходит. Дышит этим воздухом. Смотрит на эту воду.

И тогда в нём родилась новая мысль — сперва лёгкая, как тень облака, но быстро набирающая вес. Поселиться поближе. Найти дом или хотя бы маленькую квартирку — где-нибудь на склоне, откуда видно этот пляж или хотя бы край моря. Чтобы наблюдать. Не вторгаться, нет — только видеть. Знать, когда она приходит. Знать, когда она уходит. Быть частью этого пейзажа так близко, как только возможно, не разрушая его.

Мысль была безумной. И практичной одновременно. Жене можно объяснить — необходимостью уединения для работы над диссертацией, которую он давно обещал кафедре и, которой хотел заняться в академе. Аренда небольшого кабинета или домика у моря, где ему «лучше думается». Она не станет спрашивать слишком много; она привыкла к его периодам замкнутости, к его вечной потребности в тишине, к тому, что он иногда исчезает в библиотеках на целые дни.

А он... он будет жить на два дома. В одном — муж, в другом — жрец невидимого культа.

Он снова прошёлся взглядом по склону. Где-то там, наверху, среди зелени и белых камней, прятался её дом — о котором говорил официант. Может быть, из его окон видно тот самый камень, на котором сейчас сидит чайка.

Вина снова подала голос — тихо, почти жалобно: «Ты вторгаешься. Ты обманываешь. Ты становишься тем, кого сам бы презирал». Но голос этот звучал уже приглушённо, как радиоволна, которую глушит более мощный сигнал. Потому что в груди, прямо под сердцем, пульсировало совсем другое — сильное, горячее, почти ликующее: «Я здесь. Я нашёл. Я буду ближе».

Он развернулся и пошёл обратно к тропе. Чайка проводила его взглядом. Цикады затихли на секунду и завели снова. Море продолжало дышать за спиной.

Возвращаться к машине, к «библиотеке и книжной лавке», к разговору с женой о том, как прошла его поездка, — всё это казалось теперь невыносимо плоским, как сцена из чужого, скучного спектакля. Он уже знал: скоро он сюда вернется.

А ещё он знал: нужно искать дом.

Глава 6. Дом Джанни Палумбо

Он вернулся с пляжа другим человеком.

Не то чтобы он сам это осознавал — скорее чувствовал, как меняется внутренняя оптика. Субботний день, ещё утром казавшийся прозрачным и предсказуемым, теперь был полон тайных смыслов. Жена спросила, как съездил. «Хорошо, — ответил он, — но интересных книг не оказалось. Зато нашёл одно место. Тихое, у моря. Там так хорошо думается». Она кивнула, не вникая: у него, вечно какие-то «места, где хорошо думается». Она давно к этому привыкла.

Да, он был преподавателем философии, профессором. Не светилом мирового масштаба, но уважаемым человеком, в своих кругах: пара монографий, несколько десятков статей в научных журналах, которые читали человек сорок по всему миру. Этого хватало на скромную, но достойную жизнь, на статус «интеллектуала», на приглашения на конференции, где он пил кофе с такими же усталыми людьми и говорил о вещах, которые давно перестали его волновать. Здесь, в Монополи, ему было всё равно. Философия была не профессией даже, а способом существования: вечное всматривание, вечное переложение реальности на концепции, вечный поиск смысла там, где его, возможно, никогда и не было. Иногда он думал, что именно это и отдалило его от жены — не переезд, не быт, а то, что она жила в мире реальных вещей, а он всё время искал за ними что-то ещё.

Теперь он нашёл. Или, вернее, она нашлась.

В понедельник, едва проводив жену на рынок, он снова сел в машину и поехал в сторону побережья. На этот раз он не стал спускаться к пляжу — свернул раньше, в просёлок, который, петляя между оливами и сухими каменными оградами, вёл к верху склона. Ему нужно было найти место, откуда видно море. И, если повезёт, — дом.

Просёлок вывел его к маленькой площади — даже не площади, а просто расширению дороги перед старой церквушкой Сан-Рокко, белёной, с облупившейся голубой дверью и крошечной колокольней, похожей на игрушечную. Рядом, приткнувшись к церковной стене, ютился бар — «Bar dello Sport», судя по выцветшей вывеске. Хотя спортом здесь, очевидно, интересовались мало. Под навесом стояли три пластиковых столика и стул, на котором дремал пёс неопределённой породы — рыжеватый, с седой мордой и выражением лица, полным философской скуки.

Припарковавшись, он вошёл внутрь.

Внутри было темновато и прохладно. Пахло кофе, старым деревом и чуть-чуть анисом — тем самым ликёром, который здесь, на юге, пьют в любое время суток. За стойкой стоял мужчина лет шестидесяти — седые усы, рубашка с коротким рукавом, руки, привыкшие к работе. Он неторопливо протирал стеклянную витрину с корнетто, уже наполовину опустевшую.

— Buongiorno, — поздоровался герой. — Кофе, пожалуйста.

Пока старик возился с машинкой — старой, медной, рычащей на весь бар, — герой обвёл глазами помещение. Стены были увешаны выцветшими фотографиями местной футбольной

команды, парой чучел рыбы и календарём трёхлетней давности. В углу, на шатком столике, лежала стопка газет и старый телефонный справочник. Никакого интернета, никакой суеты. Место, где время остановилось в тот самый момент, когда его перестали замечать.

— Вы не местный, — сказал старик, ставя перед ним чашечку. Это был не вопрос.

— Нет. Из Турина. Но теперь живу в Монополи.

Старик кивнул с тем вежливым равнодушием, с каким на юге относятся к приезжим, — не осуждая, но и не требуя продолжения.

— Я, собственно, ишу дом, — продолжил герой, отпивая кофе. — Небольшой. Чтобы тихо, чтобы никто не мешал. И чтобы вид на море. Где-нибудь здесь, на склоне. Может, кто-то сдаёт?

Старик задумался. Поскрёб усы. Потом повернулся к двери, ведущей в подсобку, и крикнул:

— Мария!

Из подсобки вышла женщина — явно его жена, такая же немолодая, в фартуке, с лицом, на котором читалась смесь природной приветливости и многолетней привычки командовать. Она вытерла руки о фартук и вопросительно уставилась на гостя.

— Синьор ищет дом, — пояснил старик. — С видом на море.

— С видом на море, — повторила Мария задумчиво, и в её голосе прозвучало что-то вроде уважения: запрос был не из дешёвых. — Надолго?

— Как получится. Может, на месяц. Может, на полгода. Мне нужно место для работы. Уединённое.

Мария переглянулась с мужем — тот самый быстрый, почти незаметный обмен взглядами, какой бывает у людей, проживших вместе сорок лет, — и сказала:

— Есть дом. Дом Палумбо. Старый Джанни Палумбо умер два года назад, а дети его всё не едут. Синьора Роза, его сестра, присматривает, но ей тяжело. Она, может, и сдала бы.

— Он на самом склоне, — добавил старик, оживляясь. — Терраса, внизу масличная роща, а за ней — море. Вид хороший. Только дом старый, без ремонта. Удобства не новые. Вам, синьор, может, не подойдёт.

— Мне подойдёт, — сказал он слишком быстро. — А где найти синьору Розу?

Мария снова вытерла руки, хотя они были уже сухие, и махнула в сторону двери:

— Через два дома от церкви. Там ещё герань на окне, красная.

Он допил кофе, расплатился, оставив щедрые чаевые, и уже у двери, как будто вспомнив что-то неважное, обернулся:

— Кстати. Я тут видел женщину... художницу. Она, кажется, тоже где-то здесь живёт. Рисует, да?

Старик и Мария снова переглянулись. Мария чуть поджала губы — не осуждая, но с тем оттенком осторожности, который бывает у жителей маленьких городков, когда речь заходит о ком-то «не совсем здешнем».

— Наверное, синьора Л., — сказала она, называя только первую букву, как называют человека, которого уважают, но не хотят лишний раз тревожить. — Она тут живёт, да. Дом с синими ставнями, дальше по дороге. Хорошая женщина. Тихая. Но она не очень... — Мария замялась. — Она не очень любит, когда к ней приходят. Вы уж, синьор, если увидите её, лучше не беспокойте.

— Я и не собираюсь, — сказал он и сам почти поверил в это.

Через десять минут он уже стоял на пороге дома синьоры Розы — крошечной старушки в чёрном платке, которая встретила его с тем же самым недоверчивым прищуром, что и все местные. Но когда он объяснил, что он преподаватель философии, ищет тихое место для работы и что Мария из бара сказала про дом Палумбо, взгляд её смягчился.

— Преподаватель философии, — повторила она задумчиво, словно пробуя слово на вкус. — У нас тут преподавателей до этого не было. Только художница одна, дальше живёт. Ну пойдём, покажу.

Дом стоял на самом краю склона — старый, каменный, с плоской крышей и террасой, увитой засохшей бугенвиллией. Внутри пахло пылью, сухим деревом и морем. Две комнаты: спальня с продавленной, но ещё крепкой кроватью, и гостиная с большим окном, выходящим прямо на море. Мебель старая, из тёмного дерева, покрытая выцветшими кружевными салфетками. На стене — олеография Мадонны с Младенцем. В кухне — медная утварь и плита, которой, судя по всему, не пользовались со времён покойного Джанни.

Но главное — окно. Огромное, от пола до потолка, с деревянными ставнями, выкрашенными когда-то в зелёный. Из него открывался вид ровно на тот самый пляж. Узкая полоса песка, плоский камень, на котором в тот раз сидела чайка, и море — бесконечное, дышащее, живое. Он стоял у окна и не мог отвести глаз. Тропинка, по которой она спускается к воде, была видна почти целиком.

— Сколько вы хотите? — спросил он, не оборачиваясь.

Синьора Роза назвала сумму — смешную, почти символическую. Он согласился сразу, даже не попытавшись торговаться. Отсчитал купюры за два месяца вперёд и получил в ладонь старый железный ключ — холодный, тяжёлый, как обещание.

Когда он вышел на террасу, солнце уже начало клониться к закату, заливая склон медовым светом. Внизу, под оливами, тропинка была пуста. Но теперь он знал: он будет здесь. Будет смотреть в это окно и ждать, когда на тропе появится она — одна, с лёгкой сумкой или блокнотом для набросков, и спустится к воде.

Внутренний голос умолк. Только сердце билось ровно и сильно — как будто он наконец-то сделал то, для чего был рождён.

Глава 7. Ключ от мечты

Он вёл машину медленнее обычного, опустив стекло, и тёплый вечерний воздух, всё ещё пахнувший пылью и нагретой за день хвоей, задувал в салон, но не остужал того жара, что поселился у него под сердцем. Ключ был холодный, железный, с бороздками, чуть тронутыми ржавчиной. Он сжимал его в левой руке, пока правая держала руль, и этот холод был единственной реальной вещью во всём мире. Всё остальное — дорога, оливы за окном, закат, заливающий склон оранжевым, — казалось декорацией.

Дом. У него есть дом. С окном на её тропу.

Мысль эта была до того огромной, что он не мог вместить её целиком. Приходилось разбивать на маленькие, почти бытовые кусочки: нужно будет купить простыни. И кофе. И новую лампу — та, что в гостиной, слишком тусклая. И проверить, работает ли плита.

И сказать жене..

Вот этот кусочек в горле застревал. Не потому что он боялся — он уже знал, что скажет, — а потому что сама необходимость лгать, пусть даже полуправдой, отдавала горечью. Но выбора не было. Вернее, выбор был, но он был сделан не сегодня. Он был сделан еще на террасе «Il Glicine».

Жена была на кухне, когда он вошёл. Она стояла спиной к двери, помешивая что-то в кастрюле, и вполоборота слушала подкаст — итальянский, что-то о местной политике, голоса, спорящие вполголоса из телефона на столешнице. Пахло чесноком, помидорами и базиликом — простой, земной, уютный запах, который раньше вызывал у него чувство покоя, а теперь резанул чем-то чужим.

— Я вернулся, — сказал он, кладя ключи на стол. Не тот ключ, конечно, — ключ от их квартиры.

— Вовремя, — отозвалась она, не оборачиваясь. — Ужин почти готов.

Он сел на табурет у кухонного островка и смотрел на её спину. Прямые волосы, простое домашнее платье, знакомые до последней складки плечи. Она была красива — до сих пор, в свои сорок с небольшим, — но красота эта была для него теперь как старая картина, которую знаешь наизусть и перестаёшь замечать.

— Мне нужно поговорить, — сказал он.

Она выключила подкаст и повернулась.

— Звучит серьёзно.

— Да нет, — он постарался улыбнуться. — Не серьёзно. Скорее... личное.

Он рассказал ей. Не соврал почти ни в чём. Он действительно устал от города — это было правдой. Ему действительно нужно больше уединения для работы — написание диссертации требовало сосредоточения, а мысли разбегались, и он чувствовал, что в четырёх стенах их просторной, но всё же общей квартиры ему не хватает какого-то внутреннего вакуума, в котором рождаются слова. Он нашёл дом — недалеко от побережья, старый, но с прекрасным видом, и очень дёшево, и уже снял его на пару месяцев. Он будет ездить туда работать. Иногда оставаться на ночь, если засидится допоздна. Ничего особенного. Просто студия. Просто пространство.

— Ты мог бы и здесь работать, — сказала она без упрёка, но и без восторга. — У нас шесть комнат.

— Знаю. Но это другое. Там — другое.

Она помолчала. Помешала соус. Потом пожала плечами — тем самым жестом, который он знал двадцать лет.

— Если тебе так нужно, конечно. Только не загоняй себя. Ты всегда, когда садишься за научную работу или статью, становишься сам не свой.

Он выдохнул. Остатки совести пискнули — тонко, жалобно, — но тут же затихло, убаюканное тем, что он сказал правду. Почти.

— Спасибо, — сказал он. — Я правда это ценю.

Она повернулась обратно к плите, и разговор кончился. Так просто. Так буднично.

И от этой простоты ему стало хуже, чем если бы она закатила скандал.

На следующий день, в послеобеденный зной, когда город затих и даже цикады взяли паузу, он впервые открыл дверь дома Палумбо своим ключом.

Замок поддался с глухим, неохотным щелчком, и дверь отворилась внутрь, впуская его в запах пыли, старого дерева, сухой травы и моря. Он вошёл медленно, почти торжественно, как входят в храм.

Внутри всё было так же, как вчера, — и совсем иначе, потому что теперь это было *его*. Продавленная кровать с железной спинкой, кружевные салфетки, олеография Мадонны. Он обошёл две комнаты, провёл пальцем по столу, понюхал пустую сахарницу — она пахла временем. Но все эти детали не имели значения. Имело значение только окно.

Он подошёл к нему.

Окно было большим, старым. Он распахнул створки — и море ворвалось в комнату. Не вода, нет, — до пляжа было метров триста вниз по склону, — но свет, воздух, шум. Шёпот прибоя, ритмичный и далёкий, как дыхание спящего великана. Запах соли и разогретой гальки. И вид — тот самый вид, из его фантазий.

Он сел на старый деревянный стул у окна и словно растворился в этом виде, в этом свете, в этом ожидании.

Тропа была пуста. Пляж был пуст. Но это не имело значения — пока. Теперь у него было место. Теперь у него была позиция. Он мог сидеть здесь часами, день за днём, и ждать. Не вторгаться — просто видеть.

Он вдруг поймал себя на том, что улыбается. Улыбка была странной — не радостной, не возбуждённой, а почти умиротворённой. Как будто он наконец нашёл точку равновесия между реальностью и наваждением. Между мужем, который вернётся вечером в Ларго Сан-Сальваторе, и тем, кто сейчас сидит у окна, сжимая в кармане старый железный ключ.

Он не знал, когда она придёт. Может, сегодня. Может, завтра. Может, через неделю. Но он мог ждать. Ждать, вглядываться в тропу и — быть может. Впервые в жизни — просто быть.

Глава 8. Гроза

Два дня прошли впустую.

Он приезжал в дом Палумбо утром, едва проводив жену, и сидел у окна до полудня — перебирал книги, которые взял с собой для отвода глаз, листал рассеянно, но краем глаза всё время держал тропу. Потом возвращался в город, обедал с женой, поддерживал разговоры, а сам уже мысленно был здесь — у окна, наедине с пустым пляжем. После обеда снова ехал «работать» — и снова сидел, глядя на тропу, пока солнце не начинало клониться к закату. Тропа оставалась пустой. Чайка прилетала на плоский камень. Море дышало. Больше ничего.

На третий день, несмотря на амбициозный настрой, с которым он начинал своё дежурство, беспокойство проросло всерьёз. Он поймал себя на том, что не может усидеть на месте, — вставал, ходил по комнате, снова садился, барабанил пальцами по столу. А что, если официант ошибся? Что, если Мария из бара тоже ошиблась? Что, если «синьора Л.» — вовсе не она, а какая-нибудь старая вдова, и он сидит здесь, как глупец, карауля чужую тень? Но нет — официант описал её: «та, что рисует», «неразговорчивая». Мария назвала первую букву, сказала про дом с синими ставнями. Всё сходилось. Должно было сходиться.

Он решил выйти. Размяться, заодно поискать этот дом.

Дорога от церквушки Сан-Рокко уходила дальше по склону, петляя между оливами и низкими каменными оградами. Он шёл медленно, сунув руки в карманы, стараясь выглядеть праздным гуляющим, а не выслеживателем. Воздух был тяжёлый, влажный, неестественно душный для этого времени дня. Где-то далеко, над морем, ворчал гром. Цикады, обычно неумолчные, вдруг затихли — все разом, как по команде.

Дом с синими ставнями он нашёл быстро. Тот стоял чуть на отшибе, в стороне от дороги, укрытый с одной стороны старой пинией, с другой — живой изгородью из олеандра. Белые стены, плоская крыша, ставни — действительно синие, выцветшие, но ещё различимые. Дом был не большой и не маленький — такой, в котором живут один или двое. Ни машины у ворот. Ни света в окнах. Он постоял минуту, разглядывая его с безопасного расстояния, и почувствовал волну нежности: вот здесь она спит. Вот сюда возвращается. Вот из этого окна, может быть, смотрит на море, как он — из своего.

Задерживаться было нельзя. Он повернул обратно.

К вечеру погода испортилась окончательно. Тучи, ещё утром висевшие далёкой серой полосой над горизонтом, теперь затянули всё небо — плотным, низким, лиловым одеялом, из-под которого вырывались короткие вспышки. Гром рокотал уже ближе. Ветер усилился до порывов, которые гнули маслины и заставляли старые ставни дома Палумбо скрипеть и хлопать. Запахло озоном, мокрой пылью и чем-то ещё — тревожным и свежим одновременно.

Он позвонил жене и сказал, что, пожалуй, останется в доме на ночь. Дорога в город под грозой — не самая приятная вещь. Жена согласилась, просила только быть осторожным. В голосе её не было ни ревности, ни подозрения — только привычная забота. Он сбросил звонок и почувствовал знакомый, уже почти затихший внутренний укор.

А потом он увидел движение на тропе.

Сначала — лишь мелькнувшее пятно. Неяркое, светлое, вроде платя или платка. Оно двигалось вниз, к пляжу, быстро, почти бегом. Он замер у окна. Сердце ударило — раз, другой, — а потом забилося ровно и сильно, как перед прыжком.

— Она, — прошептал он вслух, и звук собственного голоса в пустой комнате показался чужим.

Он не думал. Не взвешивал. Просто схватил куртку и вышел, почти бесшумно прикрыв за собой дверь. Тропа была мокрой от первых капель — крупных, редких, шлёпающих по листьям как предупреждение. Он спускался быстро, но осторожно, стараясь не хрустеть гравием, не задеть ветку, не выдать себя ничем. Олеандры по бокам тропы уже блестели от влаги. Воздух стал плотным, почти удушающим. Где-то за спиной, над холмами, раскололось небо, и грохот прокатился вниз, к морю, эхом.

У последнего поворота, где кустарник редел и открывался выход на пляж, он остановился. Спрятался за большим кустом дрока — колючим, но достаточно густым. Осторожно раздвинул ветки.

Она стояла у самой воды, спиной к нему, босиком. На плечах был накинут плед — крупная, грубоватая вязка, серо-бежевая, похожая на рыбацкую. Под ним угадывалось только тело, больше ничего. Ветер трепал её волосы безжалостно, бросая из стороны в сторону, обвивая вокруг шеи, закрывая лицо, а она не убирала их. Она стояла лицом к морю, к тучам, к вспышкам на горизонте, и ждала.

А потом она медленно, почти ритуально спустила плед с плеч.

Он упал на песок — мягко, беззвучно

Он перестал дышать.

Ничего больше не прикрывало её тело. В сгущающихся сумерках, под низким грозовым небом, он не мог разглядеть деталей — только силуэт, мягкий, женственный, сотканный из тени и последнего света умирающего дня. Ветер, который раньше играл только с её волосами, теперь касался её всю, вырисовывая контуры тела — бёдра, талию, плечи, — но лишь на мгновение, урывками, как будто не хотел выдавать её тайну.

В первые секунды ему стало неловко. Где-то глубоко, в той части мозга, которая ещё помнила о правилах, возникла мысль: отвернись. Ты не должен это видеть. Она не знает. Она не давала тебе права. Но мышцы не слушались. Он не мог ни отвернуться, ни шевельнуть рукой, ни закрыть глаза. Он мог только смотреть — на этот силуэт, на эту тень, которая была прекраснее всего, что он когда-либо читал и цитировал студентам, — прекраснее, мучительнее, реальнее. Ни один философ, ни один поэт не смог бы передать этого.

Он стоял, вцепившись одной рукой в колючую ветку, и смотрел, как дышит море, как дышит она, как они дышат вместе.

Она вошла в воду.

Не так, как входят купальщики — бодро, вздрагивая от холода, — а иначе. Она ступала медленно, плавно, как будто не в море заходила, а возвращалась в него. Волны, ещё не высокие, но уже взволнованные предгрозовым ветром, обнимали её колени, бёдра — и она доверяла им. Полностью, без остатка. Она не плыла. Она легла на воду, отдалась ей, позволяя волнам

держат себя, покачивать, передавать с ладони на ладонь. Вода благодарила её — обнимала, поддерживала, перебирала волос, которые теперь струились по поверхности.

Сколько прошло: Минуты? Четверть часа? он не мог сказать, он потерял счет времени.

Дождь заморосил с новой силой — мелкий, тёплый, почти ласковый. Капли застучали по листьям, по плечам его куртки, по поверхности воды. Она выпрямилась, медленно пошла к берегу — а затем остановилась у кромки, подняла лицо к небу, закрыла глаза — и улыбнулась.

Это была улыбка счастья. Спокойного, полного, никому не предназначенного счастья.

У него что-то сломалось внутри. Или, наоборот, встало на место. Он не знал. Он чувствовал только, что в груди теснится такая буря — восторг, нежность, жадность, стыд, благоговение, — какой он не испытывал никогда. Ни в юности. Ни в первую влюблённость. Это было за пределами слов.

Она наклонилась, подняла плед, накинула на плечи — прямо на мокрое тело. Постояла ещё минуту, глядя на воду, и пошла обратно к тропе — той самой, где в кустах, не смея дохнуть, прятался он.

Дальше всё было как во сне.

Он дал ей отойти на достаточное расстояние, а потом двинулся следом. Тихо, шаг в шаг, выверяя каждое движение. Она не оборачивалась. Шла вверх по тропе — мокрый плед тяжело висел на плечах, волосы прилипли к спине, — но шла всё с той же спокойной грацией, ни разу не поскользнувшись, ни разу не заторопившись.

Сумерки сгущались быстро. Он держался в тени олив, прятался за поворотами тропы, и сердце колотилось не от страха быть замеченным, а от странной, почти молитвенной близости.

Он шёл за ней, как за видением.

Она дошла до дома с синими ставнями. Он остановился за старой пинией у ограды. Открыв незапертую дверь — она вошла внутрь, и через минуту в окне, выходящем на склон, зажгёлся мягкий, жёлтый свет. Окно было без занавесок. Или она не стала их задёргивать.

Он увидел спальню. Простую, с белыми стенами и низкой деревянной кроватью. И её — всё ещё нагую, потому что плед был сброшен на стул. В одной руке у нее было полотенце и медленными, плавными движениями она промокивала тело — плечи, руки, шею. В каждом её жесте, даже в этом простом, была та же гармония, та же музыка, что и в том, как она входила в море.

Это было слишком. И этого было ровно столько, сколько нужно.

Свет погас.

Он остался в темноте — один на один с дождём, с громом, который теперь уходил дальше в море, с мокрыми ветвями пинии над головой. В окне больше ничего не было видно. Она легла? Одна ли она? Или, может быть, она стоит у окна и смотрит в темноту так же, как он?

Этого он не узнает. Ему оставалось только думать. Воображать. Дописывать.

Осторожно ступая по мокрой траве, он пошёл обратно — к своему дому, к своему окну, к своему воображению, которое этой ночью получило пищу, способную питать его недели.

Глава 9. Кастель-Оливо

Он почти не спал.

Всю ночь дождь то стихал, то припускал снова, и в его неровном ритме ему слышалось то море, то её дыхание, то шорох пледа, падающего на песок. Он ворочался на продавленной кровати Палумбо, сбрасывал простыню, натягивал снова, закрывал глаза — и видел её. Не ту, из фантазий, а настоящую: мокрые волосы, капли на плечах, улыбка, обращённая к небу. Это было не сном, а какой-то новой формой бодрствования — изматывающей и улаждающей.

Под утро он понял: если не выплеснет свои чувства наружу — сгорит.

Поделиться было не с кем, оставался только один вариант - бумага.

Это — единственный друг, который выслушает и не осудит. Сейчас такой друг был нужен ему, как никогда.

В лавке на виа делле Римембранце пахло типографской краской и старым деревом. Он выбрал блокнот в тёмно-синем переплёте из тиснёной кожи — строгий, добротный, без лишнего блеска. К нему — простую чёрную ручку. Блокнот лёг во внутренний карман куртки тяжело, как обещание.

В Бари он поехал сразу после, сам не зная толком, что ищет. Адриатическое солнце плавило асфальт, узкие улочки старого города гудели мопедами, с балконов свешивалось бельё, и весь этот шум, пёстрый и громкий, странно контрастировал с его внутренней тишиной — той, в которой жила она.

На виа Спарано он увидел Галлерею «Galleria delle Murge» — маленькая, с тёмной витриной, за которой виднелись два морских пейзажа и один натюрморт. Внутри было прохладно, за столом сидела девушка — молодая, с короткой стрижкой и татуировкой на плече, — листала журнал.

— Buongiorno, — начал он. — Я интересуюсь одной художницей, местной. Она живёт где-то между Монополи и побережьем. К сожалению, не знаю полного имени. Кажется, на «Л»..

Девушка нахмурилась, отложила журнал.

— А, вы, наверное, про *La Misteriosa* - таинственная или, ее еще называют *La Solitaria* - одинокая. Она тут живёт где-то у моря. Но в галереях её нет.

Он чуть не переспросил: «Таинственная, одинокая» — но вовремя удержался. Это описание подходило ей идеально.

— У вас её работ нет?

— Откуда? Она же не выставляется. — Девушка пожала плечами с тем оттенком лёгкого негодования, какой бывает у людей, для которых искусство существует только в витрине. — Я вообще не понимаю: зачем рисовать, если не выставляться? Это всё равно что писать в стол, нет?

Он чуть заметно улыбнулся — про себя, ничего не ответив и уже повернулся к выходу, когда девушка вдруг добавила:

— Хотя... если о ней кто и знает, так это, может быть, сеньор Этторе.

Он обернулся.

— сеньор Этторе?

— Ну да. Это местный меценат. Или коллекционер. Появился здесь несколько лет назад, поселился в Кастель-Оливо — это такой старинный дом на холме, к северу от города. Слышала, он проводит там какие-то встречи... в большей части, закрытые. Даже тайные, — девушка понизила голос, и в её тоне проскользнуло что-то среднее между восхищением и сплетней. — Никто не знает, что там происходит. Чтобы попасть, нужно приглашение. Просто так не войдёшь.

— А художница? Она бывает у него?

Девушка снова усмехнулась, на этот раз многозначительнее:

— Говорят, у них *un rapporto... particolare* - отношения... особенные, — девушка выделила последнее слово, и в её тоне проскользнуло что-то среднее между восхищением и тайной. — То ли любовники, то ли нет. Но и не как у отца с дочерью. Что-то такое... — она покрутила пальцами в воздухе. Он её вроде как опекает. Говорят она его муза. Если хотите узнать, поезжайте к нему. Только не говорите, что я вас направила.

— Не скажу, — пообещал он.

Кастель-Оливо он нашёл не сразу.

Дорога уходила вглубь от побережья, туда, где равнина начинала взбираться на первые холмы, ещё покрытые оливами, но уже с вкраплениями кипарисов и каменных дубов. Пейзаж менялся: море исчезло из виду, воздух стал суше, звуки — глуше. Ни мопедов, ни радио, ни криков разносчиков. Только цикады и ветер, шелестящий в кронах.

За поворотом, на вершине пологого холма, показался замок.

Кастель-Оливо был старым, каменным, приземистым, но при этом странно величественным. Его стены, сложенные из серо-охряного камня, поросли плющом, а кое-где и мхом — влажным, тёмно-зелёным, говорившим о близости подземных источников. Узкие окна с коваными решётками смотрели на мир настороженно. Въездные ворота — высокие, деревянные, окованные железом — были приоткрыты ровно настолько, чтобы пропустить одну машину.

Он припарковался у стены, сбоку от главного входа, и вышел. Воздух здесь был

другим — прохладным, немного сырым, с лёгким запахом старого камня и, кажется, ладана. Или ему показалось. Тишина стояла такая, что собственные шаги по гравию казались кошунством.

Он ещё не придумал, что скажет. Легенда о колесе и севшем телефоне родилась в голове уже у дверей.

Дверь открыл высокий, сутулый мужчина лет семидесяти, в тёмной рубашке, с лицом, не выражающим ровным счётом ничего. Он выслушал сбивчивое объяснение — «колесо спустило, телефон сел, можно ли позвонить?» — и молча отступил в сторону, пропуская гостя внутрь.

Вестибюль был огромным, полупустым и прохладным. Пол — тёмный камень, отполированный до зеркального блеска. Потолок терялся в полумраке, но угадывались тяжёлые деревянные балки. Вдоль стен стояли мраморные бюсты на высоких постаментах — римские, судя по стилю. В углу, у лестницы, — большая ваза с сухими цветами. Пахло книжной пылью и едва уловимо — сандалом.

— Подождите здесь, я позову серьера Этторе — сказал мужчина и исчез в боковой двери.

Ждать пришлось долго. Он разглядывал бюсты, читал надписи на латыни, не понимая их, прислушивался к тишине. Где-то глубоко в доме скрипнула половица. Потом шаги. Медленные, тяжёлые.

Сеньор Этторе вышел к нему из полумрака коридора.

Это был мужчина лет шестидесяти — среднего телосложения, поджарый, с той непринуждённой осанкой, какая бывает у людей, привыкших к вниманию, но не ищущих его. Он выглядел молодо и бодро: ни сутулости, ни старческой тяжести в походке. Лицо — с мягкими, но чёткими благородными чертами — на первый взгляд располагало к себе, но чем дольше он всматривался, тем отчётливее чувствовал какую-то двойственность. В линии губ таилась едва уловимая усмешка — не злая, но и не добрая, скорее понимающая. А в тёмных, глубоко посаженных глазах читалось что-то такое, чего он не мог разгадать: не то затаённая печаль, не то спрятанная воля, не то ирония над всем миром, включая самого себя. В его присутствии хотелось одновременно довериться и держаться настороже.

Одет он был необычно — не по-итальянски. Свободный костюм тёмно-синего, почти чёрного шёлка, напоминающий одновременно и кимоно, и современный пиджак, сидел на нём с той естественностью, какая бывает у вещей, давно ставших второй кожей. Ни лацканов, ни пуговиц — только чистые линии, мягкий пояс и широкие рукава, чуть сужающиеся к запястьям. Одежда не бросалась в глаза, но притягивала — она была чуждой этому месту и одновременно удивительно уместной, словно её владелец принадлежал не стране, а некоему тайному ордену, у которого нет географических границ.

— Добрый день, — произнёс он. Голос оказался под стать внешности: низкий, ровный, обволакивающий, как тёплый дым, как бывает у людей, привыкших к власти, но не злоупотребляющих ею. — Мне сказали, у вас неприятность с машиной.

— Колесо, — подтвердил он, чувствуя, как нелепо звучит выдумка в этих стенах. — И телефон... сел. Я искал, где бы позвонить, и набрёл на ваш дом.

— Сюда не так просто набрести, — заметил сеньор Этторе с лёгкой, почти неуловимой улыбкой. — Но что ж, гость есть гость. Тут плохо ловит сотовый связь, можете воспользоваться телефоном в библиотеке. И, может быть, кофе? Вы, кажется, не торопитесь.

— Я был бы очень признателен.

Библиотека оказалась ещё величественнее вестибюля. Высокие стеллажи тёмного дерева уходили к потолку, уставленные книгами — старыми, в кожаных переплётах, с золотым тиснением на корешках. Посередине стоял массивный стол с зелёной лампой и двумя креслами. В углу, у окна, — глобус и подставка с раскрытым фолиантом. Пахло кожей, воском и временем.

Он сделал вид, что звонит — набрал вымышленный номер механика, поговорил с гудками, вздохнул, положил трубку. Этторе терпеливо ждал, разливая кофе из серебряного кофейника.

— Спасибо, — сказал он, присаживаясь. — Неудобно получилось. Я, право, не хотел вас беспокоить.

— Беспокойство — слишком сильное слово, — отозвался Этторе, подвигая ему чашку. — Здесь редко бывают случайные гости. Тем интереснее. Чем вы занимаетесь?

— Преподаю философию. В Туринском университете. Сейчас, правда, взял паузу — академический отпуск. Пишу диссертацию. Или пытаюсь.

— Философию? — Этторе чуть приподнял бровь, и в этом движении мелькнуло что-то среднее между уважением и иронией. — Это редкий гость в нашем краю. Обычно сюда приезжают за морем, а не за смыслом жизни.

— Возможно для них, море и есть смысл жизни, — ответил герой. — Или хотя бы его начало.

— Море — это вопрос, — мягко поправил Этторе, опускаясь в кресло напротив. — А не ответ. Оно слишком большое, чтобы что-то объяснять. Оно просто есть. Как и многое другое.

Он помолчал, сделал глоток кофе, и наш герой вдруг почувствовал, что этот человек никуда не спешит. А кофе, и разговор — лишь форма вежливости, за которой меценат ждёт, когда гость назовёт настоящую причину визита.

— Вы упомянули диссертацию, — продолжил Этторе. — О чём она?

— О страхе, — сказал наш герой, сам не зная, почему выбрал именно это. Может быть, потому что тема страха висела в воздухе между ними с первой минуты. — О страхе перед свободой. О том, что люди бегут от неё, строят системы, правила, рутины — лишь бы не оставаться наедине с самими собой.

— И вы хотите это описать? — Этторе чуть склонил голову набок. — Или вылечить?

— Понять.

— Понимание — это уже половина болезни, — произнёс меценат с той же мягкой, почти ласковой усмешкой. — Вы читали японцев? Нет, не философов. Поэтов. Дзэнских мастеров. Они говорят: «Если ты понял — ты уже ошибаешься». Истина не лежит в понимании. Она лежит где-то... — он повёл рукой, и широкий шёлковый рукав качнулся, как крыло, — ...в стороне от слов.

Герой молчал. Ему вдруг показалось, что его диссертация — двадцать три года лекций, Кант, Хайдеггер, всё, чем он жил, — вдруг сжалась до размеров сухого листа. А этот человек, похожий на даймё, заблудившегося в апулийских оливах, говорит вещи, от которых его собственная философия рассыпается в пыль.

Взгляд его скользнул по стенам библиотеки и вдруг зацепился за предмет, который он не заметил сразу. Над каминной полкой, на простом деревянном креплении, висел меч. Не европейский — узкое, чуть изогнутое лезвие, длинная рукоять, обтянутая тёмной кожей, с едва заметным узором на гарде. Катана.

Этторе перехватил его взгляд.

— Из Киото, — сказал он негромко. — Восемнадцатый век. Я провёл в Японии полгода. Планировал месяц, но... задержался. Проникся. Знаете, у них есть понятие *югэн* — красота, которая не раскрывает себя до конца. Намёк. Тень. То, что нельзя увидеть глазами, только почувствовать. — Он помолчал, глядя на меч. — Я многое привёз оттуда. Не только вещи. Скорее... способ видеть.

Он снял катану с крепления — медленно, почти ритуально — и протянул гостю. Тот принял её осторожно, чувствуя, как холодная сталь тяжелеет в руках.

— Она настоящая? — спросил он.

— В Японии нет ненастоящих мечей, — ответил Этторе, и в его голосе проскользнуло что-то, чего герой не смог распознать: не то гордость, не то предостережение. — Там каждая вещь либо живёт, либо её нет. Этот живой. Он знает, зачем висит здесь.

Герой осторожно вернул катану. Она легла обратно на крепление с тихим, почти музыкальным звоном.

— И зачем же? — спросил он, глядя на меч.

— Ждёт, — ответил Этторе. — Как и всё в этом доме.

Он снова опустился в кресло, и разговор перетёк в более лёгкое русло — о литературе, о писателях, о севере и юге. Этторе оказался начитан, остроумен, он цитировал Леопарди, поминал Кальвино, но при этом в каждой его фразе сквозило что-то неуловимо чуждое — не итальянское, не европейское. Как будто он смотрел на мир откуда-то сбоку, из точки, где привычные категории теряют смысл.

— Страх перед жизнью, — вдруг сказал он, возвращаясь к теме диссертации, — это страх перед её неопределённостью. А неопределённость — это и есть свобода. Вы ведь об этом пишете?

— Об этом.

— Тогда вот вам японская мудрость, — он чуть подался вперёд, и тёмные глаза его блеснули. — Самурай перед битвой не знает, выживет ли. Он знает только, что будет действовать. И этого достаточно. Жизнь — это не то, что нужно понимать. Это то, что нужно... — он замаялся, подбирая слово, — ...принимать. Как море. Как дождь. Как женщину, которая не хочет быть понятой.

Последняя фраза прозвучала так, будто он знал что-то — или кого-то, — о ком герой только догадывался.

Повисла пауза. Герой понял: сейчас или никогда.

— Кстати, о женщинах, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Я слышал об одной местной художнице. Кажется её имя начинается на Л. ...

В комнате что-то изменилось. Не то чтобы сеньор Этторе напрягся — нет, он остался так же расслаблен, так же доброжелателен. Но воздух вокруг него будто уплотнился. Он отпил кофе, поставил чашку на блюдце — медленно, аккуратно, — и ответил:

— Л.. да она талантлива — И замолчал, как будто целиком погрузился в сказанное.

Молчание повисло в комнате, как плотная штора. Герой ждал продолжения. Не дождался.

— Я хотел увидеть её работы, — предпринял он новую попытку. — Но в галереях их нет.

— Нет, — согласился Этторе. — Она невыставляется в галереях — не ищет зрителя. Она ищет — он замолчал, подбирая слово, — тишину. Её картины бывают только на закрытых мероприятиях. Иногда, на моих.

— А вы устраиваете мероприятия?

— Да, — в голосе Этторе проскользнула та же мягкая, почти кошачья интонация, с какой он говорил о югэн. — Собираются интересные люди. Художники, музыканты, писатели... Те, кто ещё не разучился видеть, скажем, сны наяву.

— Как интересно, и часто вы их проводите?

— Ближайшее мероприятие будет на Сан-Джованни

— Сан-Джованни? — переспросил герой. — Это же... на днях

— Совершенно верно. — Этторе чуть склонил голову, и в его тёмных глазах мелькнул странный огонёк — не то азарта, не то древнего, почти языческого понимания. — День солнцестояния. Самая короткая ночь в году. Вы, как преподаватель философии, должны чувство-

вать магию таких дат лучше других. Граница между мирами истончается. То, что днём кажется вымыслом, ночью может стать правдой. Люди, к сожалению, недооценивают подобные события. Они пребывают в забытии, в суете своих забот, и пропускают момент, когда можно заглянуть за завесу и увидеть таинство, магию бытия.

Наш Герой помолчал, сделал глоток кофе и все таки осмелился спросить:

— а художница Л., она тоже бывает на этих встречах?

Этторе посмотрел на него долгим, спокойным взглядом. В этом взгляде не было ни угрозы, ни отказа — только мягкая, непроницаемая учтивость.

— Кто знает. Это ведь маскарад... там все в масках.

— А приглашение? Возможно ли получить приглашение?

— Приглашения не получают, — меценат чуть развёл руками, и жест этот был одновременно извиняющимся и окончательным, - Их вручают.

Было понятно: больше ничего не добиться. Хозяин дома был вежлив, но непроницаем, как каменная стена его замка. В нём не было угрозы, не было соперничества — но было что-то, что держало в напряжении. Может быть, знание. Может быть, власть. Может быть, то, что он был единственным, кто говорил о ней со спокойным обладанием — не столько мужским, а почти жреческим.

Он допил кофе, поблагодарил, и вышел. Прислуга проводил его до дверей молча.

Уже сидя в машине, он обернулся. Кастель-Оливо стоял на холме, тёмный и неподвижный, как декорация к забытой опере. Окна были темны.

Он завёл мотор и поехал обратно к побережью, чувствуя, как внутри борются два чувства: раздражение от того, что он узнал так мало, — и острое, жгучее предвкушение. Маскарад. Маски. Сан-Джованни.

Он должен туда попасть.

Глава 10. Пустой дом

Он выехал из ворот Кастель-Оливо, когда солнце уже начало клониться к закату. Дорога обратно к побережью вилась между холмов, и в зеркале заднего вида замок медленно вращался в сумерки — тёмный, непроницаемый, как сам его хозяин.

Внутри у него кипело. Не гнев — скорее глухое, едкое раздражение, смешанное с чувством, которое он не сразу смог опознать. Ему казалось, что его не пустили. Не выставили за дверь — нет, с ним были учтивы, пили кофе, говорили о философии, — но при этом ясно дали понять: ты здесь чужой. Ты не принадлежишь этому миру. Ты можешь стоять у порога, но переступить его тебе не позволят.

И вот он, университетский профессор, человек с именем в академических кругах, вдруг почувствовал себя мальчишкой, заглядывающим в окна чужого дома. И это было унижительно. И вместе с тем — азартно. Какой-то настырный, упрямый азарт, которого он давно в себе не чувствовал.

Он свернул не к себе, а к дому с синими ставнями.

Тропинка, ведущая от дороги, была пуста. В сгущающихся сумерках белые стены казались серыми. Ставни — закрыты. Ни света в окнах, ни движения за стёклами. Он постоял у ограды, в тени старой пинии, где прятался в прошлый раз. Тишина. Только цикады завели свою вечернюю песню.

Её не было.

Он вдруг представил: а что, если она сейчас там, в Кастель-Оливо? С Этторе? Среди старых фолиантов и тайных разговоров? Мысль эта резанула — не ревностью, а горьким осознанием: она принадлежит тому миру, тому кругу, куда ему хода нет. Она — часть этой загадочной, закрытой жизни, где пьют кофе из серебряных кофейников и говорят о *юген*. А он — всего лишь наблюдатель, прячущийся в кустах.

Он развернулся и пошёл обратно к машине.

Дорога к дому Палумбо заняла десять минут. Он ехал медленно, опустив стекло, и тёплый вечерний ветер, не остужал, а скорее бередил.

Без всякой видимой причины, неожиданно для самого себя, он провалился в воспоминания о прошлом.

Как они познакомились с женой. Ему было двадцать пять, ей — двадцать три. Турин, осень, университетская библиотека. Она сидела за столом напротив, читала что-то по искусствоведению, и он, тогда ещё аспирант, влюбился в то, как она поправляет очки, как хмурится над текстом, как грызёт кончик карандаша. В ней была ясность. Определённость. Она знала, чего хочет: семью, дом, стабильность. Он тогда думал, что хочет того же.

Двадцать три года спустя он сидел в чужом доме у моря и спрашивал себя: чего не хватало? Почему ясность обернулась предсказуемостью? Почему определённость стала тесна, как старая одежда?

Ответа не было. Или он боялся его найти.

Он вспомнил её — ту, другую. *La Misteriosa*. В ней не было ясности. В ней вообще ничего не было — ни определённости, ни планов, ни правил. Только тишина. Только ветер. Только доверие морю.

Может быть, именно этого и не хватало. Не страсти. Не новизны. А тишины. Той самой, которую он искал в философии и не нашёл.

Он припарковался у дома Палумбо, но внутрь не пошёл. Сел на ступеньку террасы, глядя на тёмное море, и долго сидел так, пока звёзды не проступили сквозь остатки туч. Ему нужно

было возвращаться — домой, к жене, к привычному ужину и разговорам о том, как прошёл день. Но он не мог заставить себя встать.

Ночь опустилась быстро, как всегда на юге, — без долгих сумерек, без перехода. Только что горизонт ещё тлел оранжевым, и вот уже темнота, густая и тёплая, накрыла склон, масличную рощу, пустой пляж.

Он достал телефон и набрал жену.

— Я, пожалуй, останусь ещё на ночь, — сказал он. — Устал, не хочу гнать в темноте. Завтра до обеда вернусь.

— Хорошо, — отозвалась она. И после паузы: — Ты как? У тебя голос какой-то... странный.

— Всё нормально. Просто задумался. Диссертация.

— Ты всегда говоришь «диссертация», когда не хочешь говорить правду, — сказала она без упрёка, почти нежно. — Ладно. Отдыхай. Я жду тебя завтра.

Он сбросил звонок и несколько секунд сидел неподвижно. «Ты всегда говоришь „диссертация“, когда не хочешь говорить правду». Она знала его лучше, чем он думал. Или, может быть, он знал себя хуже, чем думала она.

Он зажёл старую лампу на столе, достал из ящика синий блокнот и сел к окну. Море за стеклом было невидимым, но слышимым — ритмичный, влажный шёпот прибоя. Он открыл чистую страницу и начал писать. Без плана, без структуры — просто выплёскивая всё, что скопилось.

«Кто я теперь? Преподаватель философии, который больше не верит в философию. Муж, который больше не чувствует себя мужем. Человек, который прячется в пустом доме и ждёт женщину, чьего имени даже не знает.

Сегодня я был в старом доме. Говорил с человеком, который носит кимоно и цитирует дзэнских мастеров. Он сказал: „Море — это вопрос, а не ответ“. Он сказал: „Жизнь — это не то, что нужно понимать, а то, что нужно принимать“. И я, двадцать три года учивший студентов понимать, вдруг почувствовал себя слепцом.

А потом я пошёл к её дому. Её не было. Ставни закрыты. Тишина. Я знаю только, как она смотрит вдаль. Как ветер касается её волос. Как она входит в воду, доверяя волнам, как не доверяла ни одному человеку.

И ещё я думал о жене. О том, как мы встретились. Она была ясной, как солнечный день. Она знала, чего хочет. Я думал, что тоже знаю. Двадцать три года спустя я сижу в чужом доме и спрашиваю себя: чего не хватало? Тишины? Тайны? Или просто той женщины, которая не задаёт вопросов и не ждёт ответов?

Этторе сказал бы: „Ты слишком много думаешь. Истина не в словах“. Может быть, он прав. Может быть, я потратил жизнь на слова, а не на жизнь.

Я не знаю, что будет дальше. Я знаю только, что завтра утром я снова буду смотреть на тропу. И ждать. Это единственное, что сейчас имеет смысл. Единственное, что не требует объяснений».

Он закрыл блокнот. Лампа бросала жёлтый круг на старый деревянный стол. За окном шумело море. Он лёг на продавленную кровать, не раздеваясь, и долго лежал с открытыми глазами, слушая, как цикады заводят свою бесконечную, бессмысленную, прекрасную песню.

Глава 11. Следующий ход

Ему приснилась площадь.

Огромная, залитая странным, неживым светом — не дневным и не ночным, а каким-то промежуточным, как бывает только во сне. Он стоял в центре, и вокруг него, со всех сторон, текли люди — десятки, сотни, безликие, в серой, одинаковой одежде, все куда-то спешащие, все смотрящие под ноги или в телефоны. Никто не поднимал глаз. Никто не замечал его. Он хотел двинуться — но не мог: тело не слушалось, как будто он был не человеком, а камнем, статуей, частью этой площади.

И тут толпа перестала быть плотной, — и он увидел её. Она шла к нему через людской поток, и там, где проходила она, суeta словно затихала, теряла звук, замедлялась. На ней было то самое платье — с глухим воротом-стойкой, лёгкое, дымчатое. Волосы свободно лежали на плечах. Она не спешила. Она просто шла, и люди вокруг становились тенями.

Она подошла совсем близко — так близко, как никогда в реальности. Он чувствовал её запах — что-то травяное, тёплое. Она подняла на него глаза, и он увидел, что взгляд её, обычно спокойный и отстранённый, теперь другой. В нём была просьба. Не мольба, не отчаяние — тихая, глубокая просьба, какая бывает у человека, который долго молчал и наконец решился.

— Ты же видишь меня? — спросила она.

Голос был негромким, но он прозвучал отчётливо, как будто все остальные звуки исчезли.

— Да, — ответил он. Во сне слова дались легко. — Я вижу.

— Больше никто не видит, — сказала она.

Он хотел ответить — хотел сказать, что она — единственное, что он видит, — но губы не слушались, и сон уже начал рассыпаться, как песок сквозь пальцы. Последнее, что он запомнил, — её рука, протянутая к нему, ладонью вверх. Она ничего не просила. Просто ждала.

Он проснулся резко, как от толчка.

Сердце колотилось. За окном только начинало светать — бледная, розовато-серая полоса над морем. Он сел на кровати, провёл ладонью по лицу. Сон всё ещё стоял перед глазами — не расплываясь, не исчезая, как бывает с обычными снами. «Ты же видишь меня?». Для него это был не просто сон. Это было послание. От неё? От его собственного подсознания? Он не знал. Но он знал одно: он не отступит.

Он встал, плеснул в лицо холодной водой из кухонного крана. Воздух был свежим, утренним, полным запаха мокрой травы и моря. Он вышел на террасу, чтобы вдохнуть поглубже, — и оцепенел.

На перилах, придавленный гладким морским камнем, лежал конверт.

Бежевый, плотный, без марки, без адреса. Только одно слово, выведенное чёрной тушью, твёрдым, почти каллиграфическим почерком: «*All'ospite*». Гостю.

Он осторожно, словно конверт мог укусить, вытащил камень и взял его. Внутри был лист плотной бумаги — не открытка, а скорее карточка. На лицевой стороне — тиснённый узор в виде виноградной лозы. На обороте — тот же почерк:

«Кастель-Оливо. Сан-Джованни. Маскарад. После захода солнца. Маска обязательна. Приглашение на одно лицо».

И внизу, мелко, почти как приписка:

«Тот, кто ищет, — находит. Тот, кто ждёт, — дожидается. Приходите, если все еще можете видеть сны наяву».

Подписи не было. Но она была и не нужна.

Он стоял на террасе, сжимая карточку в пальцах, и чувствовал, как внутри разливается странная смесь: торжество, тревога и холодок, пробегающий по спине. Этторе знал, где он живёт. Знал — или узнал. Ему достаточно было знать, что чужак поселился в доме Палумбо и сидит у окна, глядя на тропу. Может быть, он знал и больше. Может быть, он знал всё.

Это была игра. И его только что пригласили сделать ход.

Он сидел на террасе дома Палумбо и вертел в пальцах карточку. Плотная бумага, тиснёная лоза, слова, выведенные чёрной тушью: *«Приходите, если все еще можете видеть сны наяву»*.

Игра, которую затеял сеньор Этторе, тоже была настоящей. И где-то в её центре была она.

Он не мог просто сидеть и ждать вечера. Ему нужно было увидеть её. Хотя бы на мгновение.

Дорога к дому с синими ставнями была залита полуденным солнцем. Воздух дрожал от зноя, цикады трещали так оглушительно, что заглушали даже далёкий шум моря. Где-то на окраине старого города уже начинали развешивать гирлянды в честь праздника, но здесь, в стороне от людских троп, всё было как всегда — тихо, пустынно, неподвижно.

Ставни были закрыты. Дом казался спящим — или, может быть, пустым.

Он вздохнул. Глупо было надеяться, что она будет сидеть на пороге и ждать его. Но разочарование всё равно кольнуло где-то под сердцем. Он уже собирался развернуться и уйти, когда услышал звук.

Шум мотора. Машина поднималась по дороге со стороны побережья.

Он едва успел отступить за старую пинию у ограды. Сердце забилося часто, гулко. Машина — тёмно-синий, почти чёрный седан, не новый, но ухоженный — остановилась у ворот. За рулём сидел тот самый мужчина. Тот, что был с ней в кафе. Сегодня он был один.

Он вышел из машины, открыл багажник и достал несколько пакетов. Не хозяйственных, не из супермаркета — а плоских, широких, из плотной бумаги с атласными ручками. На боку одного из них герой успел разглядеть изображение маски - вычурный золотой логотип — «Atelier del Sogno». Ателье Сна. Он никогда не слышал этого названия, но звучало оно как приговор его кошельку и как пароль в мир Сеньора Этторе.

Мужчина, не оглядываясь по сторонам, поднялся на крыльцо, открыл дверь своим ключом — *у него был ключ*, эта мысль на мгновение оглушила героя, — и скрылся внутри.

Он ждал, затаившись за деревом. Где она? Почему её нет? Может, она в городе? Может, она уже в Кастель-Оливо, готовится к маскараду?

Мужчина вышел из дома уже без пакетов, сел в машину и уехал. Дверь дома он запер.

Всё стихло. Только цикады. Только море внизу.

Герой стоял, глядя на закрытые синие ставни, и внутри него боролись два желания: остаться и ждать её, сколько бы ни потребовалось, или ехать домой, к жене, как он обещал.

Обещание победило. Или, может быть, слово «Atelier del Sogno», отпечатавшееся в мозгу, обещало ему больше ответов, чем пустой дом.

Жена встретила его на кухне. Она раскладывала на блюде инжир, купленный на утреннем рынке, и, едва взглянув на него, замерла.

— Что-то случилось? — спросила она, и в голосе её прозвучала та особая, почти неуловимая нотка, которая всегда появлялась, когда она чувствовала: он что-то скрывает. — У тебя глаза горят. Ты какой-то... взбудораженный.

Он на секунду растерялся. Врать ей было всё труднее, но сказать правду он не мог.

— Просто... — он сделал паузу, подбирая слова, и вдруг понял, что лучшая ложь — это почти правда. — Понимаешь, у меня внезапно появилась одна очень интересная идея. Для

диссертации. Понимаю, это звучит глупо, но она пришла ко мне под утро, и я боюсь её упустить. Знаешь, как это бывает — если не записать сейчас, потом исчезнет.

Она внимательно на него посмотрела.

— И поэтому ты сияешь? — она улыбнулась, но улыбка вышла грустной. — Я тебе таким раньше не видела.

— Правда? — он сам не заметил. — Наверное, просто почувствовал вкус к работе.

— Хорошо, делай как считаешь правильным, но Мама ждёт нас завтра, не забудь, — сказала она, отворачиваясь к плите.

— Спасибо, — сказал он тихо. И почти почувствовал как что-то внутри снова пытается подать голос — но лишь на мгновение.

Адрес «Atelier del Sogno» он нашёл быстро. Но когда он приехал в Бари и отыскивал нужную улочку, то едва не прошёл мимо. Никакой витрины. Только старая, тёмная дверь в стене, крашенная в глухой чёрный цвет, и маленькая, почти незаметная латунная табличка: *Atelier del Sogno*. Ниже — строже: *Только по записи*.

Он помедлил, прежде чем постучать. Дверь отворилась не сразу. Ему открыла пожилая женщина. Нет — не пожилая: ухоженная, с седыми волосами, уложенными в высокий пучок, и с макияжем, который был немного кричащим. Так красятся либо на сцену, либо на приём, который начнётся после заката. Она была похожа на бывшую актрису, которая играет роль хозяйки тайного салона.

— Синьор? — спросила она спокойно, без улыбки.

Он вдруг понял, что не знает, как сюда попадают. Что, если это действительно закрытое место?

— Я ищу маску, — сказал он. — Для маскарада. Мне посоветовали...

— У вас есть приглашение?

Вопрос прозвучал как пароль. Он молча достал карточку и протянул ей. Женщина внимательно изучила её, провела пальцем по тиснению, словно проверяя подлинность, и, видимо, удовлетворившись, отступила в темноту прихожей.

— Проходите.

Внутри царил полумрак. Пахло воском, старой тканью и чем-то металлическим — возможно, позолотой, состарившейся на старых венецианских масках. Вдоль стен, на деревянных полках и манекенах, застыли лики.

Здесь была классическая баута — белая, безликая, жуткая в своей абсолютной симметрии. Рядом с ней — чёрная вольто, без единого украшения, как сама смерть. Дальше — маска чумного доктора, с длинным клювом, набитым сухими лепестками лаванды, когда-то защищавшими от заразы, а теперь хранящими запах времени. Маска совы, маска ворона, маска лисы. И совсем в углу, на высоком постаменте, — японская маска актёра театра Но: фарфорово-белая, с едва уловимой полуулыбкой, которая скорее пугала, чем успокаивала.

Он медленно обошёл комнату, чувствуя, как десятки пустых глазниц провожают его. Ему вдруг стало не по себе.

— Для вас, — произнесла женщина, — я бы предложила что-то не слишком театральное. Важно не то, что ты показываешь, а то, что скрываешь.

Он перевёл взгляд на полку. Там лежала маска, которую он в итоге и выбрал: тёмно-синяя, почти чёрная, на пол-лица, с едва заметным серебряным узором по краю. Она не была пугающей. Она была загадочной и простой. К ней прилагался длинный, лёгкий плащ — не бархатный, а матовый, как тень.

— Хорошо, — кивнула женщина. — Видимо, Вы хотите остаться незамеченным.

Пока она заворачивала попку, он, словно бы невзначай, обвёл взглядом полки с масками и задумчиво, почти рассеянно произнёс:

— К вам наверное многие уже обращались сегодня, в Кастель-Оливо на такие ночи собирается интересная публика. Много творческих людей... художников?

Женщина замерла на секунду, и он понял: она знает. Но ответила она не сразу.

— В этом доме, синьор, — произнесла она, не поворачиваясь, — каждый гость — тайна — Она положила свёрток на прилавок и посмотрела на него с лёгкой, всё понимающей улыбкой. — Там бывают разные люди. И у некоторых из них... особая роль.

— Особая роль? — повторил он.

— В подобные ночи, — она чуть понизила голос, — они — не просто гости. Но я и так сказала слишком много.

Женщина вручила ему свёрток, и он понял, что разговор окончен.

Домой он вернулся, когда солнце уже клонилось к закату. Достал из свёртка маску, провёл пальцами по её краям.

Завтра. Нет, уже сегодня ночью. Сан-Джованни. Самая короткая ночь в году. Он посмотрит на неё сквозь прорези для глаз — и наконец увидит её мир изнутри.

Глава 12. Самая короткая ночь

Он все еще сидел на террасе дома Палумбо, положив руку на свёрток с маской, и смотрел, как солнце медленно сползает к горизонту. Море внизу наливалось расплавленным золотом, и в этом свете всё казалось зыбким, неокончательным.

Он думал о ней. О том, сколько эмоций он испытал за эти несколько недель — больше, чем за последние двадцать лет размеренной, предсказуемой жизни.

А ведь у него была другая жизнь. Он вспомнил Турин, аудиторию, лица студентов. На философском факультете всегда было много девушек. Они сидели на первых рядах, ловили каждое его слово, и он знал — их внимание было приковано не только к его словам, но и к нему самому.

Его глубокая, чуть отстранённая манера говорить, его черты лица, которое с годами становилось только интереснее — мальчишеская привлекательность давно ушла, уступив место мужественной, чуть грубоватой брутальности, лёгкая седина на висках, которая не старила, а лишь добавляла характера, — и его взгляд, одновременно тёплый и изучающий, действовали на них безотказно.

Конечно, некоторые пытались с ним флиртовать. Вернее, это была игра: одни задерживались после лекции, теребили кончики волос, поправляли бретельки платья, смеялись чуть громче, чем стоило бы, над его редкими шутками. А он — он иногда отвечал. Не словом, не прикосновением, а тенью улыбки, задержавшимся на секунду взглядом, молчанием, которое позволяло им думать, что они особенные. Аккуратно, едва заметно: чуть более долгий взгляд, чуть более тёплая улыбка. Это было тихим, отчаянным желанием почувствовать себя живым. Но это были лишь искры, которые гасли, не успев разгореться.

То, что он чувствовал сейчас, не было похоже ни на что. Это был пожар. Тихий, глубокий, пожирающий изнутри.

Солнце коснулось моря. Он встал. Пора.

Он поднёс маску к лицу, примеряя. Тёмно-синий шёлк охлаждал кожу. В зеркале на мгновение мелькнул кто-то чужой — незнакомец с резкими скулами и серебряным узором на висках, с глазами, в которых читалась лихорадочная решимость. Он снял маску, бережно положил на заднее сиденье машины, рядом с матовым плащом, и завёл мотор.

Дорога к Кастель-Оливо была знакома до каждого поворота, но сегодня всё казалось иным. Даже воздух — густой, пряный, пахнувший разогретой за день хвоей и близким морем — был пропитан ожиданием. Солнце уже село. Над холмами разливался густой, лиловый сумрак.

У ворот, как он и ожидал, было движение. Несколько дорогих автомобилей, тёмных и блестящих лаком, с затемнёнными стёклами, медленно вползали в распахнутые створки. Тот самый мужчина, который открыл ему дверь в прошлый раз, сутулый и молчаливый, направлял их жестом. Герой оставил свою скромную машину у стены, за воротами, накинул плащ, закрепил маску и вошёл пешком.

При входе — проверяли приглашения. Никто не проходил иначе: каждый гость, прежде чем шагнуть в освещённый факелами двор, протягивал проверяющему бежевый прямоугольник. Карточку, изучали, с тем же бесстрастным вниманием, с каким антиквар изучает подлинность старого манускрипта, и только после этого отступали в сторону.

Герой протянул свою. Его карточку разглядывали чуть дольше, чем у других, — или ему показалось? — а затем молча жестом пригласил войти.

Переступая порог, герой вдруг ощутил это — странное, почти физическое чувство: он больше не был случайным прохожим. Он стал частью чего-то закрытого, избранного. Посвящённого. И от этого по спине пробежал холодок — не страха, а предвкушения.

Внутренний двор замка был залит дрожащим светом. Но это были не только свечи — вдоль старых каменных стен, на высоких кованых подставках, горели факелы, и их живое, неровное пламя отбрасывало на лица гостей пляшущие, зыбкие тени. Воздух пах воском, горячим металлом, дорогими духами и лёгкой, едва уловимой горчинкой — можжевельник? Или все же сандал?

Он медленно двинулся сквозь толпу. Официанты в строгих тёмных одеждах разносили высокие бокалы с шампанским и крошечные закуски на серебряных подносах. Он взял бокал, но пить не стал — просто держал в руке, как реквизит, как щит.

Публика была — иная. В их осанке, в молчаливых взглядах, которыми они обменивались, не было ни любопытства, ни праздности — лишь спокойное знание, как у посвящённых, что собрались для действия, смысл которого им давно известен. Богатство здесь не кричало — оно молчало, спрятанное в складках платья и в тусклом блеске фамильных гербов. Это был мир, существующий по своим, неписаным законам. Закрытый. Идеально огранённый, как старый бриллиант.

Вот мимо проплыла дама в возрасте, в пышном, явно винтажном платье из тёмного бархата. Её лицо скрывала классическая баута, но герой заметил, как она несла себя — с той особенной, чуть надменной грацией, какая бывает у женщин, которые привыкли, что им уступают дорогу. Она напомнила ему старую графиню из какого-то забытого фильма — из тех, что держат в шкатулках не драгоценности, а письма, способные разрушать репутацию. Рядом с ней шёл мужчина, статный, лет шестидесяти, в строгом костюме. Его лицо закрывала строгая вольто — простая, почти аскетичная маска, которая, однако, не могла скрыть его статус: его выдавали запонки — тёмные, с выгравированным фамильным гербом. Он двигался так, как двигаются люди, которые никогда не спешат, потому что время принадлежит им.

Чуть поодаль стояла пара, и герой невольно задержал на них взгляд. Высокий, худощавый мужчина в маске гуффо — совы, — оживлённо беседовал с миниатюрной женщиной в маске вольпе — лисы. В нём чувствовалась нервозность человека, привыкшего работать по ночам: редактор, писатель, может быть, критик — из тех, что живут в мире слов и идей. А она — она смотрела на него с той особенной, слегка покровительственной нежностью, с какой смотрят на гениев их музыки. На ней было облегающее платье из золотой парчи, слишком современное и дорогое для простого карнавала, и герой вдруг подумал: она не просто спутница. Она — соавтор. Вдохновительница. Та, без которой его мир рассыпался бы.

Этторе был прав: это были люди не из повседневных профессий. Не из тех, что живут от зарплаты до зарплаты и обсуждают за ужином цены на бензин. Это были люди, чья жизнь — творчество, власть, искусство — проходила в измерениях, недоступных обычному глазу.

Он вслушивался в обрывки разговоров.

— ...и тогда он сказал: «Красота — это не объект. Это момент, когда объект перестаёт быть собой и становится чем-то иным...»

— ...нет, вы не понимаете. Акт творения — это всегда насилие. Ты берёшь чистое полотно и убиваешь его белизну. И только тогда рождается искусство...

— ...я слышал, он привёз из Киото не только свитки. Он привёз идею. Идею о...

Он шёл сквозь эти разговоры, как сквозь туман. Где она? Почему её нет?

И вдруг он услышал фразу, сказанную кем-то за спиной — тихо, почти шёпотом:

— ...Л. она тоже здесь. Я видел, как она шла к...

Он не успел разобрать окончание. Чья-то рука легла на его плечо — мягко, но властно.

— Я рад, что вы пришли.

Он обернулся. За его спиной стоял Этторе.

На нём был длинный, свободного кроя пиджак из тёмного шёлка — вещь явно сшитая на заказ. Но главное — на его лице была маска. Не баута, не вольто, не гуффо — а нечто осо-

бенное: тёмная, почти чёрная, без единого украшения, охватывающая только глаза и лоб, но оставляющая открытыми губы и подбородок. Маска была сдержанная, и чем-то пугающая.

Герой узнал его мгновенно. По глазам. По этим тёмным, глубоким, всё понимающим глазам, в которых мягкость смешивалась с холодной, оценивающей властью.

— Вижу, вы нашли моё ателье, — произнёс Этторе, и его голос, низкий и обволакивающий, не мог принадлежать никому другому. — Маска вам идёт

— Благодарю, — ответил герой. — Здесь всё... не так, как я мог представить.

— О, да. — Этторе взял его под локоть с той непринуждённой фамильярностью, которая не оставляла выбора. — Вы позволите, если я уделю вам немного внимания и отвлеку от более важного занятия — домысливания чужих разговоров?

Герой вздрогнул. Этторе видел, как он прислушивался. Видел и, кажется, забавлялся этим.

— Я не...

— Не стоит — прервал он гостя, в голосе Этторе проскользнула мягкая, почти кошачья усмешка. — На подобных вечерах все так или иначе чем-то заняты. Кто-то наслаждается сплетнями, кто-то пытается разгадать чужие тайны. Это нормально.

Герой напрягся.

— Я получил ваше приглашение, — произнёс он. — Честно говоря, не ожидал.

— Вот как? — Этторе чуть склонил голову. — Почему же?

— Потому что я — чужой здесь. Случайный человек. Я не принадлежу этому миру. И вы это знаете.

— Разумеется, знаю. — Этторе улыбнулся. — Именно поэтому вы здесь.

Он помолчал, давая словам осесть.

— Я не приглашаю случайных людей. Каждый, кто получает от меня приглашение, получает его не за статус и не за деньги. А за то, что его душа ещё способна томиться по чему-то неясному, невыразимому. Вы пришли в мой дом с вопросами, на которые у вас нет ответа. Вы смотрите на мир так, как смотрят те, кто уже не может довольствоваться тем, что у них есть. Это — жажда. Тоска по иному. И она свойственна всем, кто собирается здесь сегодня. Просто не каждый умеет её в себе распознать.

Он выдержал паузу.

— Пройдёмте. Я покажу вам то, что обычно скрыто от глаз случайных гостей.

Они покинули шумный двор и вошли в боковую галерею. Здесь было тише, светлее — горели канделябры на стенах. Вдоль стен тянулись витрины тёмного дерева. Этторе шёл медленно, позволяя гостю разглядывать.

— Древнеримские монеты, — говорил он, указывая на одну витрину. — Этрусская керамика. А здесь — японские нэцкэ, резьба по слоновой кости. Каждая вещь в этом доме связана с какой-то историей. Но истории эти я рассказываю не всем.

Они остановились у окна, выходящего во внутренний сад. Этторе взял с подноса бокал вина, и они остались вдвоём в этом тихом углу, в стороне от масок и шума.

— Позвольте спросить, Вы, как понял, живёте в доме Палумбо один, а что насчет Вашей семьи? — спросил Этторе, и вопрос этот, заданный почти светским тоном, прозвучал между ними как первый ход в шахматной партии.

— Жена. Мы живём в Монополи, а дом Палумбо — это... что-то вроде кабинета. Место для работы.

— Жена, — повторил Этторе, пробуя слово на вкус. — Сколько лет вы женаты?

— Больше двадцати.

— Больше двадцати. — Он чуть склонил голову, и в его тёмных глазах мелькнул тот самый огонёк — не то азарта, не то древнего, почти жреческого понимания. — Это долгий срок. Очень долгий. — Он помолчал, сделал глоток вина. — Знаете, я часто думаю о природе брака. Семья — это ведь, по сути, искусственное образование. Величайшая иллюзия, созданная цивилизацией. Её придумали, чтобы упорядочить хаос желания, заковать его в правила, в договорённости, в обязательства. Чтобы контролировать. Обществу так удобно. Но удобно ли это участникам этого брака? Тем двоим, что стоят у алтаря и дают клятвы, смысла которых ещё не понимают?

Он повернулся к герою, и в его голосе зазвучала та особая, почти гипнотическая интонация, с какой он, наверное, говорил со своими избранницами — с теми, кого хотел не просто впечатлить, а заставить мыслить иначе.

— Мне кажется, к браку нужно подходить иначе. Как к контракту. Со сроком. Скажем, на пять лет. — Он усмехнулся, но в усмешке этой не было цинизма. — Не больше. Пять лет — достаточный срок, чтобы узнать человека. Чтобы пережить с ним и страсть, и быт, и первую ссору, и первое примирение. Чтобы увидеть его в болезни, в гневе, в усталости. И через пять лет — переосмысление. Пересмотр договорённостей. Каждый задаёт себе вопрос: хочу ли я продолжать? Всё ли меня устраивает? Без обид, без упрёков, без чувства вины ни перед собой, ни перед обществом. Мне кажется, это честно. Как взрослые люди, которые уважают друг друга и себя.

Он поставил бокал и, чуть понизив голос, продолжил, и теперь в его интонации появилось что-то почти исповедальное:

— Подумайте: если мужчина знает, что через пять лет его могут не выбрать снова, — разве он позволит себе быть невнимательным? Разве он станет забывать о нежности, о словах, которые когда-то заставляли её сердце биться чаще? Мне кажется, он будет стараться. Он будет каждый день заново завоёвывать женщину, с которой хочет остаться. Он будет видеть в ней не функцию — жену, мать, хозяйку, — а живого человека. Желанного. Прекрасного. Достойного усилий.

Он сделал паузу, и его взгляд на мгновение стал далёким, почти грустным.

— А женщина... — Он покачал головой. — Вы знаете, как часто женщины увядают в браке? Нет, я не о возрасте. Возраст — это вино, которое становится только благороднее. Я о другом. О том, как они забывают, что они — женщины. Как они погружаются в быт, в заботы, в бесконечный список дел и обязанностей. Как они перестают получать наслаждение — от своего тела, от прикосновений, от тишины, от самой жизни. Они гаснут. Медленно, незаметно. И однажды мужчина смотрит на женщину, на которой женился, и не узнаёт её. Не потому что она постарела. А потому что она перестала быть собой. Перестала хотеть. Перестала сиять.

Он вздохнул — легко, почти незаметно.

— А теперь представьте: если бы женщина знала, что через пять лет её могут не выбрать снова, — разве она позволила бы себе забыть о себе? Разве она не находила бы время для того, что приносит ей радость? Для платья, в котором она чувствует себя красивой? Для прогулки у моря в одиночестве? Для того, чтобы просто почувствовать себя живой? Она помнила бы о своей ценности. Она не позволяла бы миру забрать у неё то, что делает её цельной женщиной.

Он поднял бокал, глядя на свет сквозь тёмное стекло, и голос его зазвучал громче, твёрже — теперь он обращался уже не только к герою, но и к самой сути вещей:

— А представьте, какой союз получился бы у тех, кто каждый раз перевыбирал бы своего действующего партнёра? Осознанно. Не из страха остаться одной или одному. Не из страха перед тем, что скажут окружающие. А из искреннего желания быть именно с этим человеком. Это была бы не привычка. Не удобство. Это был бы выбор. Живой. Настоящий. Каждый раз новый. Вы только посмотрите на людей вокруг. Посмотрите в их глаза. Что вы там видите? Пустоту. Они как тела, которые доживают. У них нет предвкушения — ни от завтрашнего

дня, ни от сегодняшнего. У них всё обыденно, всё понятно наперёд. Интересы нет. Жизни нет. Они стареют не телом — душой. И свой союз они называют красивыми словами: «привычка», «удобство», «мы столько лет вместе». Но это не союз. Это трусость. Великое, могущественное чувство между мужчиной и женщиной — самое сильное, что нам дано, — они превращают в привычку. Заменяют удобством. Или страхом перед обществом — страхом быть не как все. И это, пожалуй, самое страшное преступление. Преступление против жизни.

Он повернулся к герою, и в его глазах блеснула та самая, неуловимая усмешка — не злая, но и не добрая. Понимающая. Испытующая.

— Как вам кажется? Если бы вам дали сейчас такую возможность — сделать выбор, без вины, без обвинений, — что бы вы выбрали? Вы бы продлили свой контракт? — Он сделал паузу. — И ещё более важный вопрос: а ваша жена? Как вы думаете, если бы у неё была такая свобода — без вины, без страха, без оглядки на общество, — выбрала бы она вас снова? Или, может быть, она захотела бы выбрать другого? Или — себя?

Тишина. Слышно было только, как потрескивают факелы во дворе. Герой молчал, и ответ его — невысказанный — повис между ними.

Этторе улыбнулся — мягко, почти сочувственно — и поставил бокал на поднос.

— Не отвечайте сейчас. Это был жестокий вопрос. Но именно жестокие вопросы обычно ведут к истине. — Он коротко поклонился. — Прошу меня извинить. Мне нужно подготовиться к представлению. Наслаждайтесь вечером и увиденным.

И он исчез за портьерой. Оставил после себя лишь лёгкий запах сандала и ощущение, что разговор не окончен. Что он только начинается.

В одиночестве герой бродил по залам. Он все еще надеялся найти ее — или хотя бы следы её присутствия, — но видел только антиквариат, гравюры, тени. Мысли его металась вокруг того вопроса, который поселился у него внутри:

«Что бы вы выбрали?»

«Продлил бы он контракт?»

Он смотрел на своё отражение в тёмном стекле витрины — маска, плащ, чужой человек. Двадцать с лишним лет брака. Дом. Привычка. Уважение. Общая жизнь, общая мебель, общие воспоминания. Всё это было прочным, настоящим, заслуженным. Но было ли это тем, что он выбрал бы сейчас — без вины, без обвинений, с чистого листа? Он не мог ответить «да». И от этого «нет», невысказанного, спрятанного глубоко внутри, ему становилось дурно.

То, что он делал сейчас — одержимость, эта ночь в чужом доме среди масок, — не отвечало никаким нормам. Ни общества, ни брака, ни той морали, которую он сам двадцать три года преподавал студентам. Он нарушал всё. Он предавал жену — пусть не физически, но в мыслях, в желаниях, в том, куда уходило его сердце каждую ночь. Это было неправильно. Это было невозможно оправдать.

Но.

Если бы он не пошёл за этим зовом — что было бы с ним? Он вспомнил Турин, аудиторию, серые лица студентов, бесконечные лекции, которые он читал на автопилоте. Вспомнил вечера с женой, тихие, ровные, лишённые искры. Вспомнил пустоту, которая поселилась в нём задолго до переезда на юг. Он умирал там. Медленно, незаметно, прилично — но умирал. И только здесь, только в этом странном, мучительном, запретном чувстве к женщине, чьёго имени он даже не знал, он снова почувствовал себя живым.

Так что же правильно? Сохранить верность мёртвому порядку — или предать его ради живого чувства?

Гонг прервал его мысли — низкий, вибрирующий звук, который, казалось, проникал сквозь каменные стены и отдавался где-то в груди.

Глава 13. Ритуал

Гонг затих, и его последний, низкий отзвук ещё дрожал в воздухе, когда гости начали собираться во внутреннем дворе. Они выходили из залов, из галерей, из тёмных углов, где вели тихие разговоры, и стекались к центру, где заранее был выложен круг из белого камня. Факелы по краям круга горели высоко и ровно, и в их свете лица масок — бауты, вольто, гуфо — казались застывшими масками древнего хора.

В центре круга стоял низкий каменный алтарь, а на нём — широкая бронзовая чаша с водой и пучки сухих трав: зверобой, лаванда, розмарин. Чуть поодаль, в глубине двора, темнел бассейн с морской водой — гладкой, как зеркало, и лишь дрожащие отблески факелов выдавали её присутствие.

Из тёмной арки, ведущей в глубину замка, вышел Этторе.

Он сменил одежду. Длинный шёлковый пиджак исчез; теперь на нём были только свободные, струящиеся одежды из тёмного, почти чёрного льна. Ткань была распахнута на груди, обнажая торс. В свете факелов его тело казалось вылепленным из старого золота: поджарое, с рельефом мышц, который говорил о дисциплине, не уступающей его интеллекту. Тени играли на его коже, подчёркивая каждое движение, каждый вдох.

Маски на нём больше не было.

Его лицо, открытое и спокойное, предстало перед всеми. Герой видел его прежде, в библиотеке, но сейчас, в дрожащем свете факелов, оно казалось иным — древним, почти архаичным. Черты, которые раньше казались просто благородными, теперь обрели какую-то хищную, пугающую красоту. А глаза... глаза были тёмными, глубокими, и в них читалась не просто власть — готовность. Предвкушение.

— Друзья, — произнёс он, и голос его, низкий и обволакивающий, разнёсся по двору, как звук виолы да гамба. — Сегодня — самая короткая ночь в году. Ночь Сан-Джованни. Ночь солнцестояния. Древние верили, что в эту ночь граница между мирами истончается. Что духи воды и огня выходят к людям.

Он обвёл собравшихся взглядом, и каждому показалось, что он посмотрел именно на него.

— Мы, с Вами, несём ответственность. Ответственность перед теми, кто не видит. Кто слишком занят повседневной суетой, чтобы почувствовать магию этого дня. Мы — те, кто должен им это показать. Объяснить. Донести. Потому что мы сами — проводники. Мы стоим на границе между обыденным и священным. И сегодня мы эту границу перешагнём.

Он сделал несколько медленных, величавых шагов, и тени от факелов заскользили по его обнажённому торсу, как живые.

— То, что вы увидите, — древний ритуал. Он восходит к культу Партенопы — сирены, что вышла из морских вод и основала город, который мы теперь называем Неаполем. И к культу Приапа — бога плодородия, бога жизненной силы, что течёт через всё живое. Этот ритуал говорит нам: жизнь есть таинство. И таинство это — эрос. Соединение. Слияние стихий. Воды и тела. Огня и духа.

Он повернулся к арке и простёр руку.

Герой стоял в толпе и чувствовал, как воздух сгущается. В висках стучало. Каждое слово Этторе падало, как камень в воду, и расходилось кругами где-то глубоко внутри.

— Сейчас выйдет та, что согласилась стать сегодня не просто гостьей. Она станет сосудом. Проводницей. Через неё мы увидим то, что обычно скрыто. Приветствуйте её молчанием.

Сердце героя пропустило удар. Он весь напрягся, подавшись вперёд.

И в этот момент в круг вошла женская фигура.

В длинной, тёмной накидке, скрывающей её с головы до пят. Лицо было спрятано под капюшоном. Она двигалась медленно, и в каждом её шаге была плавная, почти ритуальная грация.

Воздух вокруг него словно застыл. Это Л.? Или нет?

Этторе взял её за руку. Он повернулся к гостям, и глаза его на мгновение встретились с глазами героя. В них больше не было ни мягкости, ни иронии. Только тёмный, первобытный огонь.

— Вода и кровь, — произнёс он. — Огонь и плоть.

Женская фигура все еще стояла спиной к гостям. Он взялся за край накидки и медленно, почти благоговейно снял ее с плеч женщины. Ткань упала к её ногам. Она осталась обнажённой.

Спина, плечи, изгиб талии — всё это было очертаниями, силуэтом в дрожащем свете факелов.

Этторе погрузил пальцы в чашу с водой и начал ритуал. Он возложил мокрые пальцы на лоб женщины, и она чуть запрокинула голову. Провёл ими по её ключицам, по груди, по солнечному сплетению, и герой видел, как по её коже бегут мурашки. В движениях Этторе не было грубости, не было торопливости. Была власть — зрелая, уверенная, всезнающая власть мужчины, который привык обладать и знает цену своему обладанию. Тени от факелов плясали на его обнажённом торсе, подчёркивая каждое движение мышц.

Этторе произносил что-то на латыни — слова, которые герой не мог разобрать, но ритм которых был гипнотическим. Он омывал её травяной водой, и запах лаванды и розмарина разносился по двору.

А потом герой увидел его глаза.

В них что-то изменилось. Они потемнели, и в глубине их зажёгся огонь — не отражение факелов, а что-то внутреннее, древнее, почти животное. Страсть. Желание. Не похоть — а та самая сила, которая, наверное, горела в глазах Приапа, когда он смотрел на свою избранницу. Это был взгляд человека, который стоит на пороге таинства и знает, что ему принадлежит всё.

Герою стало дурно. Он не мог отвести взгляд от этой обнажённой фигуры — и одновременно ненавидел себя за то, что смотрит. В том, как Этторе касался её, была абсолютная, спокойная, непоколебимая власть. И эта власть демонстрировала себя сейчас — не чтобы запугать, а чтобы показать: «Ты можешь смотреть. Ты можешь желать. Но обладаю здесь — я».

Этторе закончил омовение. Он на мгновение замер, глядя на обнажённую женщину перед собой, и затем повернулся к гостям.

— «Mare nostrum, vita nostra», — произнёс он, и латынь прозвучала в этой ночи как заклинание. — «Море наше — жизнь наша». Древние верили, что солнцестояние — это момент, когда стихии принимают нас обратно. Когда мы можем смыть с себя всё, чем стали, и вернуться к тому, чем были. Вода помнит нас. Она ждёт.

Он повернулся к женщине и взял её за руку. Подвёл к бассейну, и она ступила в воду — медленно, спиной к толпе. Вода сомкнулась вокруг её лодыжек, коленей, бёдер, талии.

— Иди, — произнёс он, и голос его дрогнул от сдерживаемой страсти. — И вернись иной. Иди и вернись, моя Партенопа.

Она вошла в воду по грудь, и факелы почти погасли. В наступившей полутьме её тело казалось серебряным — как лунная дорожка на море.

И в этот миг, когда она повернулась, свет последнего факела упал на её лицо.

Это была не Она. Не Л.

Облегчение и разочарование ударили одновременно, как две волны, столкнувшиеся в груди. Это была другая — молодая, красивая, с блестящими от экстаза глазами. Та, что стала сегодня не просто гостьей. Но где же тогда Л.? Её нет среди гостей? Она вообще не пришла? Или...

Этторе стоял на краю бассейна, и в его глазах, устремлённых на избранницу, горел тёмный, первобытный огонь. Женщина медленно выходила из воды, и её мокрое тело сияло в свете факелов, как тело морской богини, поднимающейся из пучины. Её движения были плавными, почти нечеловеческими — она всё ещё была в трансе, во власти ритуала.

Выйдя из бассейна она остановилась. А затем, следуя какому-то древнему, безмолвному зову, развела руки в стороны и протянула их к Этторе — не прося, а предлагая. Жест был полон такой абсолютной, незащитной открытости, что по толпе пронёсся единый вздох.

Этторе принял её. Он накинул плед на плечи женщины, укрывая её. Его движения были точны и почти нежны, но лицо оставалось строгим и сосредоточенным. Он повернулся к гостям, и его голос, усиленный тишиной, разнёсся по всему двору:

— «Mare nostrum, vita nostra». Она вернулась иной. Это напоминание. Здесь и сейчас, в самую короткую ночь, мы прикоснулись к истоку. К той силе, что древнее нас, что будет жить после нас. Примите это чувство. Прочувствуйте это осознание. И передайте его другим. Мы, — хранители этой памяти. Несите её. Это — ваша миссия.

Далее он обратился к своей избраннице:

— Я благодарю тебя, Партенопа, за твою смелость. За то, что стала для нас сосудом и проводником. Сегодня ты стала мостом между мирами.

Он склонил голову перед ней — не как хозяин перед гостьей, а как жрец перед божеством, которое только что явило себя через неё. А затем, всё так же властно, повёл в тёмную арку, ведущую в глубину замка. За ними закрылась тяжёлая портьера.

Несколько секунд стояла абсолютная тишина. Магия всё ещё висела в воздухе. Каждый пытался сохранить в себе то, что только что почувствовал.

А герой всё стоял, глядя на тёмную арку, за которой исчез Этторе. Внутри у него всё кипело. Он только что увидел то, о чём даже не мог помыслить. Власть. Абсолютную, древнюю, пугающую власть. И мысль о том, что она — его Л. — когда-то, возможно, могла стоять на месте этой избранницы, была невыносима.

И тут он почувствовал аромат.

Тонкий, едва уловимый — соль, что-то травяное, тёплое. Аромат, который он не мог спутать ни с чем. Аромат из его мечтаний, из его грозовой ночи, из его бессонных фантазий.

Он резко обернулся.

Женский силуэт в лёгком платье отдалялась от него. Только что она была так близко, что он мог бы коснуться её. Но она уже отступала. Тень скользнула вдоль стены и бесшумно ушла в сторону едва освещённого прохода, ведущий в глубину дома.

Это Она.

Он последовал за ней — как замороженный, как ведомый той самой силой, о которой только что говорил Этторе.

Глава 14. Партенопа

Замок оказался лабиринтом. Узкие коридоры, повороты, лестницы, которые то взбирались вверх, то снова уходили вниз. Она мелькала впереди — то её платье на мгновение освещалось огнём редкого канделябра, то её силуэт проступал на фоне узкого окна, то исчезал за поворотом. Он едва успевал. Она вела его — не оглядываясь, но и не ускоряя шаг. Как будто знала, что он идёт следом. Как будто хотела этого.

Наконец она скрылась за дверью в конце длинного коридора. Дверь осталась приоткрытой.

Он остановился. Сердце колотилось где-то у горла. Он глубоко вздохнул и вошёл.

Комната была небольшой. В камине догорали несколько поленьев, отбрасывая на стены дрожащие, глубокие тени. Окно выходило на море, и за ним была только бесконечная, бархатная тьма, чуть тронутая серебром у самого горизонта.

Она стояла спиной к нему.

— Зачем вы здесь?

Голос был тихим, спокойным, без страха. Как будто она знала, что он придёт. Как будто ждала.

— Я... — он запнулся. — Я не знаю. То есть знаю. Но не могу объяснить.

Она не оборачивалась.

— Попробуйте

— Вы... вы — единственное, что имеет смысл. С тех пор, как я вас увидел.

Она медленно повернулась. В темноте он не мог разглядеть её лица — только блеск глаз, тёплый, живой.

Она смотрела на него и молчала. Затем, таким же спокойным и тихим голосом произнесла:

— Сегодня действительно необычная ночь, — Она чуть склонила голову, глядя на него.

— Кто знает, какую границу она сотрёт для вас... А теперь уходите.

И замолчала. Больше ничего. Она снова перевела взгляд в сторону окна.

Он не знал, что делать. Слова кончились. Он стоял ещё несколько секунд, чувствуя себя нелепо, беспомощно, а потом отступил. Медленно развернулся. Вышел в коридор. Прикрыв за собой дверь.

Он шёл по коридорам замка, не разбирая дороги. Внутри у него всё бурлило. Что это было? Зачем он послушался и ушёл? Почему она сказала ему уйти?

Он вышел во внутренний двор. Праздник не закончился — он перетёк в новую, более интимную фазу, как и предрекал своим ритуалом Этторе. У бассейна, в отблесках догорающих факелов, ещё мелькали тени — несколько пар оставались там, и тихий смех, плеск воды и обрывки шёпота смешивались с ночным воздухом. В окнах Кастель-Оливо горел приглушённый, дрожащий свет, и за каждым окном, за каждой прикрытой ставней, казалось, вершилось своё таинство — продолжение того, что началось у алтаря.

Он прошёл через двор почти бесшумно, стараясь не смотреть по сторонам, не встречаться ни с кем взглядом. Ему было не до них. Мысли его были заняты одним — той дверью, тем коридором, той комнатой, из которой он только что вышел.

Миновав арку, он вышел за ворота и подошёл к своей машине. Достал ключи. И замер.

В голове снова прозвучала фраза: «Кто знает, какую границу она сотрёт для вас».

Он сжал ключи в кулаке так, что металл впился в ладонь. Внутри у него всё дрожало. Не от страха — от невозможности уйти. От невозможности вернуться к машине, к дороге, к дому, к жене, к диссертации, ко всей той жизни, которая ещё утром была его жизнью, а

теперь казалась чужой, как костюм с чужого плеча. Он стоял, глядя на тёмные окна замка, и чувствовал, как внутри него борются два человека. Один — тот, кем он был всю жизнь: рациональный, сдержанный, привыкший взвешивать последствия. Другой — тот, кого он не знал до этой ночи: дикий, голодный, не признающий ни границ, ни правил.

Первый говорил: «Садись в машину. Ты пересёк черту. Ты зашёл слишком далеко. Ещё можно отступить». Второй не говорил ничего. Он просто рванул его обратно — без слов, без доводов, без мыслей. Тело приняло решение раньше, чем разум успел его осознать.

Он развернулся. Не пошёл — почти побежал, сам не понимая, куда и зачем, зная только, что назад, к машине, к прежней жизни, он больше не вернется. Ноги сами несли его обратно, через двор, через арку, вверх по лестнице. Его дыхание срывалось, сердце колотилось где-то у горла, перед глазами всё плыло, но он не останавливался. Он не мог остановиться. Он уже не выбирал. Им двигала сила, которая была больше, чем он сам.

Он ворвался в комнату, распахнув дверь.

Она стояла в центре комнаты.

Ее шёлковая накидка — светлая, почти прозрачная, ткань струилась по её телу, как вода, как лунный свет. Она не двигалась. Просто смотрела на него — без удивления, без упрёка, без страха. Как будто знала, что он вернётся.

Он стоял на пороге, тяжело дыша. Воздух между ними дрожал.

Она поднесла руку к плечу — туда, где накидка была стянута одной-единственной завязкой. Потянула за неё. Медленно. Без единого слова.

Шёлк соскользнул на пол.

И она осталась стоять перед ним — обнаженная. Абсолютно, беззащитно, царственно обнажённая.

Он замер. Всё, что он представлял, всё, о чём грезил долгими ночами, всё, что рисовал в своём воображении, — всё это было ничем. Бледной тенью. Жалкой копией по сравнению с тем, что он сейчас видел и ощущал. Она стояла здесь — живая, тёплая, настоящая. И она ждала его.

Внутри у него что-то переломилось. Словно невидимая пружина, сжатая до предела, вдруг распрямилась — и он перестал быть тем, кем был минуту назад. Созерцатель, вечный наблюдатель — всё это отступило, исчезло, растворилось в дрожащем свете камина. Он больше не был отделён от своих фантазий. Граница, о которой она говорила — граница между ними — стёрлась.

И он почувствовал себя тем самым ветром.

Ветром, который играл с её волосами на террасе «Il Glicine», который касался её тела во время грозы, который ласкал её кожу, не спрашивая разрешения. Он был этим ветром. Он не спрашивает разрешения. Он не просит. А она просто позволяла ему — всё. И от этого осознания у него закружилась голова, и мир вокруг качнулся.

Она была податлива, как вода. Обтекаема, как море, которое принимает пловца, не сопротивляясь, но обнимая всей своей глубиной. Она принадлежала ему. Только ему. В эту ночь, в этом замке, в этой тишине — она была его.

И в нём проснулась сила. Звериная. Древняя. Та самая, которую призывал Этторе своим ритуалом, но которая теперь принадлежала ему. Он чувствовал себя не просто мужчиной. Он чувствовал себя обладателем. Героем греческой легенды, который берёт то, что принадлежит ему по праву. Могущество. Власть. Страсть. Всё это стало его сутью — здесь и сейчас. Раньше он не знал, что способен на такое. Раньше он не знал, что такая сила вообще существует в нём. Всё, чем он был раньше, — преподаватель, муж, человек привычки, — отступило куда-то далеко. Остался только он. И она. И ночь.

Он двигался к ней. Медленно. Неотвратно. Как зверь, который больше не нуждается в погоне, потому что добыча уже принадлежит ему — не захваченная силой, а отдавшаяся добровольно. Его шаги были тяжёлыми, уверенными, и каждый отдавался в тишине комнаты глухим, властным ритмом. В его движениях не было ни сомнения, ни спешки — только спокойная, первобытная непоколебимость. Он не сводил с неё глаз, и она не отводила своих.

Он подошёл вплотную — так близко, что чувствовал тепло её тела, слышал её дыхание. Она стояла перед ним, открытая, беззащитная, и ждала. Ни один мускул не дрогнул на её лице. Только глаза — глубокие, тёмные, полные того самого огня, что горел в нём самом, — поднялись к нему:

— Я хочу быть твоей Партенопой, — прошептала она

И он перестал быть собой прежним.

Глава 15. Пелена

Его разбудил шум.

Не громкий, не резкий — приглушённый расстоянием и толстыми стенами: хлопали дверцы машин, шуршали шины по гравию, доносились обрывки прощальных фраз. Гости разъезжались. Праздник кончился.

Он открыл глаза и несколько секунд просто смотрел в потолок — высокий, с тёмными деревянными балками, освещённый бледным утренним светом, сочащимся сквозь ставни. Голова была тяжёлой, будто наполненной густым, вязким туманом, какой бывает после долгого, лихорадочного сна.

Он резко приподнялся на локте и обвёл комнату взглядом.

Пусто.

Кровать рядом с ним была холодной — он провёл по простыне ладонью, и та ответила ему лишь прохладой не потревоженной за ночь ткани. Подушка — нетронутой. Ни шёлковой накидки на полу, ни следа её присутствия. Только его собственная одежда, небрежно брошенная на стул, и маска на столике у двери — тёмно-синяя, с серебряным узором.

Вся минувшая ночь лежала в памяти не цепочкой событий, а единой, ослепительной вспышкой. Он помнил, как шёл за ней по лабиринту коридоров. Помнил, как ворвался в эту комнату, как она стояла здесь. Помнил, как ткань упала к её ногам. Помнил жар её кожи, её дыхание — прерывистое, сбивчивое, — помнил тихие, едва уловимые звуки, которые она издавала, когда он прикасался к ней. Помнил свой собственный голос — низкий, незнакомый, — и её шёпот: *«Я хочу быть твоей Партенопой»*.

А потом — провал. Ни проблеска. Ни единого образа. Как она уснула? Как уснул он? Что было после того, как наслаждение, достигнув пика, оставило его где-то на грани сна и яви. Темнота. Густая, непроницаемая, как вода на большой глубине.

Он встал. Медленно, всё ещё надеясь, что глаза обманывают его. Обошёл комнату — до окна, до двери, до камина. Ничего. Ни заколки, ни ленты, ни неосторожно обронённой серёжки. Как будто её здесь никогда не было.

Он отдёрнул ставни. Солнечный свет хлынул в комнату, безжалостный, яркий, и в его лучах комната выглядела совсем иначе, чем ночью: старые, но ухоженные стены, добротная мебель, кровать, застеленная бельём, которое пахло лавандой и больше ничем. Никаких следов. Никаких улик.

Он сел на край кровати и опустил голову на руки. В висках стучало. Он попытался восстановить цепочку событий — шаг за шагом, как привык это делать со сложными философскими текстами. Но обрывки воспоминаний не желали складываться в стройную картину. Почему она ушла? Почему не оставила никакого знака? Может быть, она просто не хотела его видеть утром? Может быть, для неё эта ночь была лишь продолжением ритуала, частью праздника, а он — лишь случайным участником?

Он не знал. И от этого незнания внутри разрасталась глухая, холодная тревога.

В дверь постучали.

Он вздрогнул, накинул рубашку, открыл. На пороге стоял тот самый слуга — сутулый, молчаливый, с лицом, не выражающим ровным счётом ничего. В руках он держал поднос: кофейник на одну персону, одна чашка, одна булочка, одна вазочка с мёдом.

— Синьор.

Слуга поставил поднос на столик и уже собирался уйти, когда герой, пересилив себя, спросил:

— Послушайте... Тут была женщина. В этой комнате. Вы не видели? Она выходила утром?

Слуга посмотрел на него долгим, пустым взглядом. Потом развёл руками — жест, который мог означать всё что угодно: «не видел», «не знаю», «не моё дело», — и вышел, бесшумно притворив дверь.

Герой опустился на стул. Есть он не мог. Он ещё несколько минут сидел, глядя на одинокую чашку, на одну булочку, на одну вазочку с мёдом. Одна персона. Ему не предлагали завтрака на двоих. Потому что никого больше не было.

Он понял: в этой комнате ответа не найти.

Оделся, взял маску, вышел в коридор.

Дневной свет, проникающий сквозь высокие окна, совершенно изменил замок. Там, где ночью дрожали тени и горели факелы, теперь были просто старые, но ухоженные стены, украшенные добротными гобеленами со сценами охоты. Каменные ступени, стёртые тысячами шагов за несколько столетий, были чисто выметены. В углах, ещё ночью полных таинственной, манящей тьмы, теперь стояли вазы с сухими цветами и аккуратные столики с лампами. Со стен смотрели портреты — масло в тяжёлых рамах, какие-то далёкие предки или просто картины, купленные на аукционах. Замок был всё так же величественен — но магия покинула его вместе с ночью. Остался просто богатый дом. Красивый. Безмолвный. Чужой.

Он шёл медленно, прислушиваясь. Из-за одних дверей доносился приглушённый смех — низкий, женский. Из-за других — тишина, ещё более красноречивая. Он замедлял шаг у каждой двери, задерживал дыхание, надеясь уловить хоть что-то знакомое — интонацию, тембр, шорох её платья. Может быть, она ещё здесь? Может быть, она тоже ищет его?

Но коридоры молчали.

Он спустился в большой зал. Тот самый, где вчера гремела музыка и мелькали маски. Теперь здесь было пусто и залито солнечным светом из распахнутых настежь окон. И в центре зала, за длинным дубовым столом, сидел Этторе. Перед ним стоял серебряный кофейник и две чашки.

— Профессор, — произнёс он, не оборачиваясь. — Присоединяйтесь. Я ждал вас.

Герой подошёл и сел напротив.

Этторе выглядел свежим и отдохнувшим — ни тени усталости на лице. Он был одет в свободный льняной костюм, и ничто в его облике не напоминало о вчерашнем жреце. Только глаза — те самые, тёмные, всё понимающие, — смотрели с прежней, едва уловимой иронией.

— Как вам спалось? — спросил он, поднося чашку к губам.

— Хорошо, — ответил герой.

— Хорошо, — повторил Этторе. — Странное слово. Оно может означать что угодно. Крепкий сон без сновидений. Или сон, полный таких ярких, таких живых образов, что их трудно, почти невозможно отделить от яви.

Он отпил кофе, не сводя глаз с собеседника.

— Скажите, профессор, вам когда-нибудь снилось что-то настолько реальное, что вы просыпались в уверенности, что это произошло на самом деле? Запах. Прикосновение. Чужое дыхание на вашей коже. Всё это было так живо, так телесно, что вы готовы были поклясться: это правда. И начинали сомневаться в собственном рассудке.

Герой молчал.

— Говорят, — продолжил Этторе, и в его голосе зазвучала та самая, почти гипнотическая интонация, — что в такие ночи, как эта, подсознание человека особенно... восприимчиво. Древние инстинкты, подавленные желания, тайные страхи — всё это выходит на поверхность и облекается в плоть. В образы. В лица. Иногда — в очень конкретные лица. Те, что мы видели днём. Те, о которых думали. Те, которых... желали.

Он сделал паузу.

— Это всего лишь работа воображения. Но какая мощная, правда? Воображение способно создать целый мир — с запахами, звуками, прикосновениями. И главное его коварство в том, что оно не оставляет следов. Только смутное, тревожное ощущение: а было ли это на самом деле?

Он откинулся на спинку стула и посмотрел на героя долгим, изучающим взглядом.

— С вами такого не случилось?

Герой выдержал его взгляд.

Конечно, он мог бы рассказать. Мог бы спросить. Но интуиция — та самая, что привела его к этому дому, — подсказывала: не сейчас. Этторе был частью этого лабиринта. И герой не знал, какую роль тот играет. Друг? Соперник? Или тот, кто дергает за нити? Прежде чем делиться с ним, он должен был разобраться сам. Если он вообще сможет разобраться. Поэтому он ответил коротко:

— Нет, не припомню.

— Вот как. — Этторе чуть улыбнулся. — Значит, вы хорошо спите. Или, может быть, — он сделал паузу, — ещё не готовы отличить одно от другого.

Он допил кофе и поставил чашку на стол.

— Я рад, что вы посетили мой праздник. Надеюсь, он оставил у вас... особое впечатление.

Герой поблагодарил и встал. Этторе не двинулся с места — только проводил его взглядом.

Он гнал машину по просёлочной дороге быстрее, чем следовало. Разговор с Этторе звенел в ушах, и каждое слово, каждая пауза, каждая усмешка теперь казались частью какого-то изощрённого, многоходового плана. *«Воображение способно создать целый мир». «Оно не оставляет следов». «Вы ещё не готовы отличить одно от другого».*

Он хотел запутать его. Или предупредить? Или просто играл?

Внутри у него всё трепетало — не от страха, а от ощущения, что почва уходит из-под ног. Он, человек, преподававший логику, структуру, аргументацию, — он больше не мог отличить реальность от вымысла. И от этого было по-настоящему страшно. Он терял контроль. Он терял себя. Вся его жизнь — дисциплина, порядок, предсказуемость — была построена на том, что реальность тверда. А теперь она стала зыбкой, как песок под набегающей волной.

Дом с синими ставнями встретил его тишиной. Ставни были закрыты. Дверь заперта. Ни движения, ни звука. Он постучал — ответа не было. Обошёл дом, заглянул в окно. Пусто. Безжизненно. Как будто здесь никто не жил.

Он побежал вниз по тропинке, к пляжу. Сердце колотилось где-то у горла. Может быть, она там? Может быть, стоит у воды, как тогда?

Пляж был пуст.

Он стоял, тяжело дыша, и чувствовал, как внутри рушится что-то важное. Если она была сном — почему этот сон был реальнее, чем вся его предыдущая жизнь? Если она была явью — где доказательства?

Он смотрел на море, и море молчало. Он смотрел на песок, и песок не хранил следов. Он смотрел на свою руку — ту самую, которой касался её — и не понимал, помнит ли его кожа тепло её тела или это тепло — лишь отголосок желания, разыгравшегося в ночи. Где заканчивалась реальность и начинался вымысел? Где проходила черта? Черты больше не было. Она стёрлась. Исчезла.

Он вдруг осознал, что ему не у кого спросить. Не к кому обратиться за подтверждением или опровержением. Что теперь делать? Ехать к Этторе и требовать ответа? Но что он скажет?

Выставит себя посмешищем. Или, хуже того, раскроет карты перед человеком, который, возможно, и есть его главный противник.

Раздался звонок телефона.

Он вздрогнул. Жена.

Этот звонок был чуждым, инородным — он принадлежал другому миру. Той жизни, из которой он выпал несколько недель назад и в которую всё ещё делал вид, что возвращается. Той жизни, где была жена, дом, планы приглашения к теще. Той жизни, которую он сам строил более двадцать лет — и которую теперь едва помнил

— Ты не забыл? Сегодня едем к маме. Ты обещал.

— Да, — сказал он. Голос прозвучал хрипло, неестественно. — Скоро буду.

Он нажал отбой и ещё несколько секунд стоял неподвижно, глядя на потухший экран. Потом сунул телефон в карман и пошёл к машине. Ноги были ватными, движения — механическими. Он сел за руль, завёл мотор и выехал на дорогу, ведущую в Монополи.

Дорога была пустой. Он ехал, глядя на белые камни оград, на серебристые оливы, на море, которое то появлялось, то исчезало за поворотами, и мысли его текли медленно, тяжело, как густое масло.

Что с его семейной жизнью? Если там всё было хорошо — почему он сейчас здесь? Почему его, словно невидимой рукой, выдернуло из уютного, обжитого мира и привело на этот пустой пляж, к этому чужому дому, к этой женщине?

Он пытался вспомнить, когда в последний раз чувствовал к жене то, что чувствовал к Л. — этот огонь, эту дрожь, это невозможное, животное желание, от которого темнело в глазах. И не мог вспомнить. Было ли это вообще? Или их брак с самого начала был другим — спокойным, разумным, правильным?

Их свели общие знакомые, общие интересы, общие представления о том, какой должна быть жизнь: стабильной, предсказуемой, лишённой потрясений. Она была умна. Она была надёжна. Она была всем, что он искал в женщине — или думал, что искал.

Но страсти — той самой, о которой пишут поэты, из-за которой начинают войны и рушат империи, того огня, который сжигает всё и не оставляет ничего, кроме пепла и жажды — между ними не было.

Он вспомнил слова Этторе о контракте на пять лет. *«Разве будет мужчина вести себя невнимательно, небрежно, понимая, что через пять лет его могут не выбрать снова?»* Он не был невнимательным. Он не был небрежным. Он был просто... никаким. Он делал всё, что положено: зарабатывал, заботился, присутствовал на семейных ужинах, дарил цветы на годовщины. Но делал ли он её счастливой? Он не знал. Он никогда не спрашивал.

А она? Она когда-нибудь смотрела на него с той же отчаянной, безоглядной готовностью, с какой Л. смотрела в ту ночь? Она когда-нибудь прикасалась к нему так, будто он — единственное, что имеет значение? Он не помнил. Может быть, и нет. Может быть, она тоже выбрала его не из страсти, а из спокойной, разумной уверенности, что он будет хорошим мужем. И он им стал. Хорошим. Надёжным. Удобным.

Дорога свернула к Монополи. Белые дома старого города приближались. Он въехал в Ларго Сан-Сальваторе, припарковался у своего дома и несколько минут сидел, глядя на знакомую дверь, на лимонное дерево во дворе, на ставни, за которыми его ждала жена.

Ему нужно было войти. Ему нужно было улыбнуться, и вести себя так, как будто ничего не случилось.

Он глубоко вздохнул и открыл дверь.

Глава

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.